



ПРИСТАНИЩЕ О

ВТОРАЯ КРУТКА

18+

Арон Родович

Пристанище Ноль.

Вторая крутка

<https://litres.ru/74593263>

SelfPub; 2026

Аннотация

— Хозяин, тебе под дверь бумагу подсунули. Ночью. Уголок к уголку, как в приличном доме.

— Читай.

— «Наряд на возврат брака». Брак — это она, беглянка твоя хвостатая. Я бумагу понюхал. Пахнет цехом и чужой рукой. И знаешь, что смешно? Маршрут в ней правили поверх печати, от руки. Ведёт не на завод.

— А куда.

— Под нас. Ровно под то место, где ты спишь.

Я как раз выбирал из твари то, что у неё было вместо печени. Руки не дрогнули — руки у меня хорошие. А вот под лопаткой стало холодно, как от чужого сквозняка.

— То есть за ней пришли, чтоб через неё добраться до меня.

— Наконец-то. Медленный ты. — Млякс поёрзал на плече.

— Они так всегда заходят. Не «отдай», а «распишись, что ознакомлен». Распишешься — и уже согласился. Чем именно — узнаешь, когда поздно.

— А если не расписываться?

— Тогда крути. Второй раз. Из золотого что угодно выпадет, хоть выход.

— Выпадет?

— Не знаю, доктор. Но я не сказал «нет».

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	18
Глава 3	33
Глава 4	50
Глава 5	68
Глава 6	83
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Арон Родович

Пристанище Ноль.

Вторая крутка

Глава 1

— Порядок движения повтори, — сказала Алёна.

— Ты первая, я в трёх шагах сзади и слева. На перекрёстках стоим, слушаем. Если ты поднимаешь кулак — я замираю. Если ты стреляешь — я не бегу к тебе, а ухожу за укрытие и жду.

— Не «жду», а «наблюдаю сектор». — Она перекинула автомат поудобнее. — Сойдёт. Из тебя за час получился почти обучаемый боец. Магазин в автомате, два в подсумке. Девяносто патронов на весь город — считать буду вслух, чтоб ты не питал иллюзий.

Утро выхода получилось многолюдным, как проводы на вокзале. Зузлик зачитал ведомость экспедиции в окончательном виде и потребовал расписаться в получении самого себя — в графе «убыло: владелец, 1 шт.». Вера сунула мне свёрток с брикетной нарезкой «на обмен и на съесть» и посмотрела так, что стало ясно: вечерний разговор про эвакуацию корпуса не отменён, а отложен, и проценты капают. Со-

ня доложила обстановку по второму футляру — гудит, отвечает, «ночью они разговаривали, я слышала сквозь сон», — и я записал это в ту часть головы, где у меня лежало всё, на что сейчас не было времени. Список этой части головы уже не помещался на страницу.

Витя с топчана провёл последний инструктаж по фанере: пятиэтажка с простынёй — за железкой, торцом к переезду, идти дворами вдоль гаражей, на открытое не выходить.

— Я там не был, — честно сказал он. — Мы с Алёной с другой стороны заходили. Но торец видел в бинокль ещё с части — простыня висела уже тогда.

Геннадьич встал у двери с монтировкой — принимающая сторона, комендант на хозяйстве.

— Возвращайтесь до темноты, — сказал он просто. — Каша в шесть.

И мы вышли.

Тупик встретил серым светом и тишиной. От охотника, которого я убил несколько дней назад, осталось пятно — тёмный силуэт на бетоне, как обводка мелом на месте преступления, и горстка серого крошева по контуру. Мир прибирал за собой быстро. Фонарь стоял всё так же косо. Ворота гаражей шли рядом — Толины «шестьдесят кило металла» висели на петлях и ждали. Алёна двинулась вдоль стены, я — уступом, за её левым плечом, как учили час назад. Млякс лежал у меня на плече, прижав уши, и молчал с такой силой, что молчание можно было вешать на пояс вместо второй ду-

бинки.

Город за восемь дней стал другим. Я помнил его по первой неделе — горящим, орущим, с мигающим светофором и бельём на верёвках. Теперь он молчал. Я прислушивался к просветам между нашими шагами: где-то далеко, в стороне центра, ровно и низко гудело, как гудит трансформаторная будка, и на этом фоне город жил своей новой жизнью. В арке двора-колодца, мимо которого мы шли, что-то было — я не увидел, я унюхал: сладковатый тухлый дух и поверх него резкий, аммиачный. Гнездовье. Млякс на плече сделался ещё меньше.

— Не смотри туда, — шепнул он. — Идём, идём.

Витрины стояли выбитые. Банкомат у сберкассы лежал на боку, вскрытый, как консервная банка, — не людьми: по кромке шли следы зубов. В магазине «Продукты», отмеченном у меня в памяти зарубкой с первой недели, внутри, за темнотой, что-то переступило с лапы на лапу, когда мы проходили, — переступило и не вышло. Сытое. Я отметил и это: в городе, где еда сама не бегает по улицам уже которые сутки, сытая тварь означает, что еду сюда приносят. Или приводят.

Через два квартала мы упёрлись в пепелище. Длинные ангары за бетонным забором — я помнил их по сводке первой недели, продуктовые склады, — выгорели дотла, ровно, по всему периметру, как выгорает то, что подожгли с четырёх углов сразу. Пахло холодной гарью. Алёна присела у забора, посмотрела сквозь прореху.

— Не сегодня, — сказала она. — Всё остыло. Может, ещё в первые дни.

— Кто-то очень не хотел, чтобы городу было что есть, — сказал я.

Дальше шли молча — квартал, другой. Молчание с Алёной было рабочее, удобное, как разношенный инструмент, и я сам не заметил, как его нарушил:

— Вопрос не по службе. Почему пошла ты? Витя твой боец, ты его восемь часов на себе тащила — а тут оставила и пошла со мной за незнакомыми людьми.

— Потому и пошла. — Она не обернулась, продолжая резать глазами подворотни. — Витя — мой. За своего я уже отработала. А это, — она коротко повела стволом на город, — общий периметр. У меня, доктор, из всей части осталось полтора человека, и один из них лежит с твоим швом в ноге. Хочешь, чтобы у меня снова была часть, — строй базу. Я в неё первая записалась, если ты не заметил.

— Заметил. Терминал обиделся.

— Переживёт. — И после паузы, не поворачивая головы: — А завхозу своему передай: топорик верну после выхода. На короткой дистанции патроны экономит.

— Она не моя... — начал я и увидел, как у Алёны дрогнул уголок рта. Единственный раз за всю дорогу. Млякс на плече издал беззвучный звук — я почувствовал вибрацию — и мудро воздержался от комментариев до лучших времён.

Гончих мы встретили на переезде.

Две. Они вышли из-за вагона-теплушки метрах в сорока — не крадучись, а по-хозяйски, и по тому, как они разошлись веером сразу, без разведки, стало ясно: не случайная встреча, работали по нам. Одичавшие — без ошейников-жил, какие я видел у конвойных, тощие, с проступившими рёбрами, но строй держали, как на параде.

— Стоим, — ровно сказала Алёна. — На меня не выходи. Левая — твоя, если дойдёт. До того — не дёргайся.

Она подпустила правую метров на двадцать пять и положила её двумя выстрелами — первым сбила передние лапы, вторым добила с той же позиции, когда тварь ткнулась мордой в шпалы. Левая, вопреки всей собачьей логике, не отвернула — ускорила, стелясь над насыпью, и зашла дугой, мне за спину, потому что одичавшая стая за эти дни отлично выучила, кто в паре двуногих слабое звено.

Она прыгнула — я успел присесть и встретить её дубинкой снизу вверх, наотмашь.

БУ-О-ОНК.

Тварь перелетела через меня, приложилась о рельс, и Алёна добила её одним выстрелом, не сходя с места.

— Три патрона, — сообщила она. — Восемьдесят семь. Цел?

— Цел. — Сердце колотилось где-то в глотке, руки гудели от отдачи дубинки, и поверх всего этого в углу зрения бесстрастно всплыло:

[Устранены: гончая (одичавшая) — 2. Начислено: 52.]

— По двадцать шесть за голову, — прокомментировал Млякс, выползая из-за моего воротника, куда он на время боя тактически передислоцировался. — Заметь, хозяин: в городе система платит. Здесь ты не «силами объекта», здесь ты добытчик.

Пятиэтажка открылась от переезда — серый торец, и на нём, с четвёртого этажа до второго, простыня. Та самая. За эти дни она вылиняла, обтрепалась по нижнему краю, но буквы держались — «ЛЮДИ ЕСТЬ», выведенные чем-то бурым, широко, в отчаянный размер. Подъезд, обращённый к нам, был забаррикадирован снаружи: мебель, дверь от гаража, детская коляска, набитая кирпичом. Работали грамотно — не завал, а шлюз, с проходом-змейкой, который простреливался из окна первого этажа.

— Обжитая оборона, — вполголоса оценила Алёна. — Держат периметр не первый день. Дисциплина.

Мы вышли на открытое медленно, с поднятыми руками — я ещё и брикет над головой держал, как парламентёрский флаг, чувствуя себя при этом продавцом с лотка. Метров за тридцать из чёрного окна первого этажа лязгнуло — характерно, знакомо по фильмам: помповое.

— Стоять, — сказал голос. Немолодой, прокуренный, спокойный. — Руки вижу. Кто такие?

— Живые! — крикнул я. — Из-за железки! У нас еда, стены и врач! Ищем людей!

Пауза была долгая. В глубине подъезда шёл совет — я не

слышал слов, только интонации: женская, быстрая, две мужских.

— Врач, говоришь. — Голос вернулся. — А на плече у врача что сидит?

Млякс, надо отдать ему должное, не спрятался. Он выпрямился у меня на плече, устроил уши вертикально и произнёс своим лучшим голосом из окошка выдачи справок:

— Распределитель при владельце. По штату.

Из окна помолчали.

— Оно говорит, — констатировал голос без выражения.

— Оно ещё и оформляет, — сказал я. — Слушай, отец. Я понимаю, как это выглядит. Неделию назад я бы сам в такое не поверил и правильно бы сделал. Поэтому предлагаю просто: вышли одного, кто у вас решает. Поговорим через баррикаду. Мы не подойдём ближе, чем скажешь.

Он вышел сам — через шлюз-змейку, с помповым на сгибе локтя, стволом вниз. Лет шестьдесят пять, сухой, седая щетина, ватник, а под ватником угадывалась старая форменная рубашка. По тому, как он двигался вдоль своей баррикады — не глядя, привычно, каждый поворот телом помнил, — я понял, что оборону здесь строил он.

— Палыч, — представился он. — Старший тут я, других не завезли. Охрана, тридцать лет, ведомственная. — Он оглядел меня, Алёну, задержался на автомате, кивнул сам себе. — Сержант?

— Старший сержант. ПВО.

— Вот и поговорим, — сказал Палыч и опёрся о коляску с кирпичом, как о трибуну.

Я рассказал всё почти честно. Дверь в гаражной стене — в двух кварталах. Убежище, которое не здесь, — «и не спрашивай где, отец, я сам это слово выговариваю с третьей попытки». Еда на месяцы. Стены, которые твари не берут — проверено дважды, второй раз этой неделей. Врач — я. Вода — своя.

Палыч слушал, не перебивая, глядя мне в переносицу, и когда я закончил, начал спрашивать. Спрашивал он так, как принимают объект под охрану.

— Чем кормите?

— Брикеты с человеческим допуском. Пять с половиной тонн. Ещё корм для животных — отдельно.

— Спите где?

— Пока — вповалку, одна изба. Вторую начинаем. Твои мужики пригодятся.

— Санитария?

— Кипяток, осмотр раз в день, лазарет — я. У меня один прооперированный, шов на двадцать сантиметров, четвёртые сутки, идёт на поправку.

— Кто решает?

— По хозяйству — комендант и завхоз. По жизни и смерти — я. Не потому что самый умный, а потому что дверь открывается моей рукой.

— А если я скажу «нет»?

— Оставлю два брикета на детей и уйду, — сказал я. — И приду завтра. У меня, отец, времени меньше, чем у тебя гордости, но на два захода хватит.

Палыч посмотрел на меня долго. Потом — на Млякса.
— Пусть оно походит, — велел он.

Млякс не оскорбился — во всяком случае, вслух. Он спустился, прошёлся по баррикаде туда-сюда, как по подиуму, дал себя рассмотреть — а потом из шлюза, стуча когтями, вышла овчарка. Живая, настоящая, тощая, как её хозяйева, с проваленными боками. Она подошла к Мляксу вплотную, обнюхала его от ушей до хвоста — двор замер, я замер, Млякс стоял смирно, как на медкомиссии, — и, закончив, широко, со скрипом зевнула и легла рядом.

— Собака дурная, но в людях не ошибалась ни разу, — сказал Палыч с заметным облегчением. — В нелюдях, выходит, тоже. — И повернулся к подъезду: — Тань! Выводи считаться!

— А кормить твоего зверя чем? — немедленно отозвался из окна женский голос, тот самый, быстрый. — Он казённый или свой?

— Он на самообеспечении! — крикнул Млякс, оскорблённый до глубины штатного расписания.

Таня вышла первой — раньше собственной очереди, потому что вопросы продовольствия очередей не признают. Половник за поясом сидел у неё, как табельное оружие. Она встала напротив меня, руки в боки, и провела допрос, перед

которым Палычевы десять вопросов были разминкой.

— Печь какая?

— Кирпичная. Настоящая.

Я успел пересчитать людей в подвале: двадцать три человека, включая Палыча. Добавил к нашим одиннадцати. Теперь даже разговор о кастрюле был не бытовым, а стратегическим.

— Кастрюля?

— Одна.

— ОДНА? — Она произнесла это так, что Алёна повела стволом по сектору. — На сколько душ?

— В обычном списке будет тридцать три души, если договоримся. За столом — тридцать четыре человека.

— Одна кастрюля на тридцать четыре человека. — Таня посмотрела на Палыча с выражением «и вот с этими людьми мы собираемся жить». — У меня тут походная кухня с третьего дня налажена, бак на сорок литров, с собой заберу, не бросать же. Крупа есть?

— Перловка. Два кило.

— Соль?

— Двести грамм. И пять с половиной тонн пищевых брикетов.

— Брикеты — это которые комбикорм? — Таня вздохнула с видом человека, которому предстоит из ничего делать еду до конца времён. — Ладно. Размачивать, перетирать, на лепёшки. Жить можно. — И, развернувшись к подь-

езду, гаркнула: — Собираемся! Кухня — моя!

— Вот так у нас всё и решается, — сказал Палыч фило-софски. — Я оборону держу, она — всё остальное.

Они выходили из шлюза по одному, и я считал — двумя счётчиками сразу, потому что глаза мои давно работают в два потока: один считает души, другой ставит диагнозы.

Женщина лет сорока с половником за поясом — Таня, повариха и, судя по хватке, начальник тыла. Обезвоживание среднее, руки в ожогах от готовки на открытом огне. Двое мужиков работного вида — у одного цинготная бледность дёсен, когда заговорил. Парень-студент в очках с треснувшим стеклом — истощение, но глаза быстрые, живые, всё фиксируют: этот считал их запасы не хуже Зузлика. Женщи-на с грудничком — у меня ёкнуло дважды: грудничок в этом городе, восемь дней, и молоко у неё, судя по тому, как ре-бёнок берёт грудь и бросает, уходит. Старуха, которую вели под руки, — не старость, диабет, я почти уверен, и без пре-паратов счёт у неё на недели. Подростки, двое, — эти в са-мой лучшей форме из всех, подростки живучи, как крысы, это комплимент. Дети. Ещё дети. Мужик с рукой на перевя-зи — перелом, сросшийся криво, наспех, болит до сих пор, видно по тому, как держит плечо.

У женщины с грудничком я задержался — не смог иначе, включился рефлекс, который старше любых порогов и реест-ров.

— Сколько ему?

— Четыре месяца. — Она смотрела на меня загнанно, готовая защищать. — Он тихий. Он почти не плачет, он понимает...

— Он не «понимает», он экономит, — сказал я мягко. — А вы едите за двоих последней, я угадал? С этого дня — первой. Порядок такой: сначала вы, потом все остальные, это не доброта, это физиология лактации. Скажете поварихе — я распорядился.

Она моргнула. По-моему, за восемь дней ей впервые сказали не «держись», а что-то, что можно выполнить.

И у каждого, кто проходил мимо, я смотрел шею. Над воротником. Быстро, привычно, вторым потоком — есть шов или нет шва. Я нашёл два шрама, одну грыжу и ноль швов, и не расслабился ни на одном, потому что после Гриши я знаю цену собственной уверенности: шесть фактов я уже однажды сложил в неверный диагноз.

Я считал, и после пятнадцати у меня внутри начало холодеть — не от страха, от арифметики.

— Двадцать три, — закончил Палыч, когда шлюз опустел. — Со мной. Восьмой день держимся. Вода — дождевая, кончается. Жратвы — на три дня, если по-честному, на пять, если по-моему. Твари подъезд пока не берут, но ходят кругами, прикидывают. — Он помолчал и добавил другим голосом, глуше: — А ночи четыре назад мимо нас по улице гнали людей. Собаки эти гнали, строим, как конвой. Человек десять гнали, с детьми. Мы слышали. Мы не вышли. — Он

посмотрел мне в глаза, не мигая. — У меня двадцать три души за спиной было, доктор. Я не вышел. Ты мне теперь скажи, что я был прав, — а я не поверю, но хоть послушаю.

— Пятеро из тех, кого гнали, живы, — сказал я. — Они у меня. Дошли до моей двери на рассвете, в то самое утро.

Палыч выдохнул — длинно, со свистом, как выпускают воздух из плохо накачанной шины. Помповое у него на локте дрогнуло.

— Живы, — повторил он. — Ну. Тогда говори прямо, доктор: скольких берёшь?

И я стоял перед ним, между простынёй «ЛЮДИ ЕСТЬ» и своей дверью в двух кварталах отсюда, и держал в голове сводку, которую знал наизусть: жителей — десять из двадцати. Двадцать три пары глаз смотрели на меня из шлюза, от баррикады, с рук у матерей. Овчарка смотрела тоже. У меня за спиной ровно, спокойно дышала Алёна, и в этом дыхании не было подсказки — она уже сказала своё ещё на совете: гарнизон, сопровождение, статус. Про то, что делать, когда людей больше, чем мест, не говорил никто.

Мест у меня было десять. Их — двадцать три.

Глава 2

— Всех, — сказал я.

Слово выпало у меня раньше, чем я закончил считать, — и, уже сказав, я понял, что арифметика догонит и подтвердит. Палыч сощурился и склонил голову набок, будто я предложил ему расписаться на пустом бланке.

— Ты только что говорил — десять мест. Я слышал. Я, доктор, всё слышу, у меня работа такая была.

— Мест — десять. — Я поднял палец, останавливая. — А теперь следи за руками, отец, тут начинается мой любимый мелкий шрифт. «Место» — это строка. Учётная запись с довольствием, десять штук, и я их заполню сегодня же. А крыша — это совсем другой вопрос. Гость в лимит не входит. У меня четверо суток жили гостями шесть человек — система ворчала, но пускала. Значит, так: десять твоих становятся жителями сразу, остальные — гостями, до второго дома. Второй дом мы начнём строить завтра утром, и строить его будут в том числе твои руки. Довольствие гостям не положено — кормить буду из своих, еды на всех хватит с запасом, я показывал расчёт.

Палыч молчал секунд десять. Потом медленно, со вкусом, покачал головой:

— Тридцать лет я охранял контору, которая вот так же дырки в положениях искала. Только они — чтоб не платить,

а ты — чтоб людей взять. — Он протянул мне руку, жёсткую, как дверная петля. — Контора бы тобой гордилась и уволила бы в тот же день. Собираемся.

Сборы дома, который восемь дней был крепостью, — это отдельная анатомия. Я смотрел, как двадцать три человека разбирают свою осаду на части: как Таня снимает с гвоздя половник и как у неё при этом лицо человека, выписывающегося из больницы, где было страшно, но где всех вылечили. Как работяга Сева отдирает от баррикады доску — свою доску, которую сам прибивал, — и аккуратно, привычно вытаскивает из неё гвозди в карман. Как старуха Зинаида Марковна отказывается ехать.

— Я тут умру, — сказала она с топчана, который ей собрали у подъезда. — Тут хоть стены свои.

— Стены не ваши, — сказал я, присев рядом. — Стены муниципальные. А умирать я вам пока не подпишу — у меня с документами строго, спросите любого. Диабет?

Она посмотрела на меня быстро и зло, как смотрят люди, чью тайну назвали вслух.

— Двадцать лет.

— Инсулин когда кончился?

— Неделю как.

— Значит, слушайте меня. — Я говорил ровно, лекторски, потому что с такими пациентами работает только ровное. — В городе остались аптеки. В аптеки никто не ходит — тварям они не нужны, а людям страшно. Я хожу. У меня

список, вы в нём теперь первая строка. Но за инсулином я пойду от своей двери, а не от вашей, потому что от своей — ближе и живее. Поэтому вы сейчас встаёте, едете на носилках как королева, и не мешаете мне вас спасти. Вопросы?

— Характер у тебя поганый, — сказала Зинаида Марковна с уважением и стала собираться.

Последним снимали пост. Палыч вышел из подъезда, задрал голову на простыню — «ЛЮДИ ЕСТЬ», четыре метра отчаянного полотна, восемь дней на ветру, — и взялся за верёвку.

— Оставь, — сказал я.

Он обернулся.

— Люди ещё есть, — сказал я. — Не здесь, так в соседних кварталах. Сидят по подвалам и ждут, пока кто-нибудь повесит такую тряпку. Пусть висит. Мы будем сюда наведываться — за материалами всё равно ходить. Точка сбора уже намоленная.

Палыч подумал. Отпустил верёвку.

— Тогда так. — Он достал из кармана огрызок мела, которым, судя по стёртости, писал не первый раз, и вывел на стене подъезда, крупно: «УШЛИ ЖИВЫЕ. ВЕРНЁМСЯ. ЖДИТЕ». Подумал ещё и добавил снизу дату — по старому стилю, человеческому календарю, будто заверил документ. — Печати не хватает, — сказал он без улыбки. — Ну, у вас там есть кому ставить.

Сборы Алёна с Палычем провели вдвоём, на два голоса,

и слушать это было отдельным удовольствием: два устава, найдя друг друга, спелись с полуслова. Порядок движения объявили такой: Алёна — головной дозор, за ней мужики с арматурой, в середине — дети, женщины, старуха Зинаида Марковна на носилках из двери и двух черенков, Танин бак — на тачке, дальше вторая группа мужиков, я с Мляксом — при середине, как врач и, по выражению Палыча, «ценный груз», замыкал сам Палыч с помповым и овчарка Найда, которая на построении обошла колонну по периметру и осталась ходить кругами, как будто всю жизнь только конвойной службой и занималась.

— Идём два квартала, — поставил задачу Палыч так, чтоб слышали все. — Не бежим. Не орём. Упал — поднимают двое ближних, остальные не останавливаются. Детям — смотреть на спину переднего и считать шаги. Кто собьётся со счёта — начинает заново, это вся ваша работа. Вопросы? Вопросов нет.

И мы пошли — двадцать пять душ, одна собака и один демон, самая большая процессия, какую этот город видел за восемь дней новой эры.

— А если там ничего нет? — спросил меня на ходу Костя. Он шёл в середине, но умудрялся оказываться рядом с каждым интересным разговором, как молекула газа. — Ну, статистически. Вы говорите — дверь в стене. Я восемь дней смотрел на эти гаражи с крыши. Там нет двери.

— Ты и на Млякса восемь дней не смотрел, — сказал я.

— А он есть.

— Это довод, — признал Костя и на всякий случай записал что-то в блокнотик, который у него, оказывается, выжил вместе с ним.

За спиной у нас Таня вполголоса расспрашивала мать грудничка, всё ли та слышала про еду и кипяток, — правда ли, что там внутри «печка настоящая и потолок капает чистым», и по интонациям было ясно: в дверь она поверит, когда потрогает печку, и ни секундой раньше. Люди шли за нами не потому, что верили. Люди шли, потому что позади оставалось три дня воды.

Первый квартал прошёл тихо. Слишком тихо — я успел подумать об этом ровно в тех словах, которыми думают все покойники в плохих фильмах, и обругать себя за жанровое мышление. Город смотрел на нас пустыми окнами. Где-то на параллельной улице однажды простучали когти по жести — простучали и стихли. Найда шла кругами, прижав уши. Млякс ещё на выходе переехал с плеча ко мне в капюшон халата — «для снижения профиля», как он выразился, — и оттуда, из глубины, доносилось мерное шелестящее бормотание: «...восемнадцать взрослых, семь детей, полторы собаки...» Почему полторы, я спрашивать не стал. У страха своя бухгалтерия.

Стая взяла нас на переезде.

Там, где рельсы резали улицу, колонна вытягивалась и замедлялась — носилки, тачка, дети через рельсы, — и они

ударили ровно в эту минуту, что само по себе было ответом на вопрос, случайны ли такие встречи. Из-за вагонов, с двух сторон сразу, веером. Я досчитал до семи и бросил считать, потому что восьмая шла по шпалам прямо на меня.

— КОЛЬЦО! — рывкнул Палыч, и его двадцать три души, натасканные восемью днями осады, свернулись вокруг носилок и детей быстрее, чем я успел бы объяснить слово «кольцо». Мужики выставили арматуру частоколом. Таня встала над баком с половником — и это не было смешно, вот ни капли.

Дубинку держал поперёк груди и следил за просветами между арматурой. Гончие заходили с обеих сторон рельсов, и голову приходилось поворачивать за каждым новым движением у кольца.

Алёна была одиночными, с колена, выбирая тех, что заходили дугой. Первые две гончие легли. Третья после выстрела кувыркнулась, поднялась и ушла за вагон, хромая. Алёна вслух называла остаток: восемьдесят шесть, восемьдесят пять, восемьдесят четыре. Палыч подпускал своих на десять шагов и бил в упор — помповое говорило редко и веско, как человек, которому дорого каждое слово. Найда работала по лапам — визг, хруст, отскок. Одна гончая прорвала частокол, получила от работяги арматурой поперёк хребта, от Тани — половником в основание черепа, и я записал половник в реестр табельного оружия без всякой иронии.

И сквозь весь этот грохот — выстрелы, визг, хруст арма-

туры — я слышал изнутри кольца ровный мальчишеский голос: «Сто двадцать один. Сто двадцать два. Сто двадцать три». Пацан с пятиэтажки, лет десяти, держал ладони на ушах младшей сестры и считал шаги, которых больше не было, — громко, в полный голос, чтобы сквозь счёт к ней не пробивалось ничего другого. Считать шаги их научил Палыч час назад. Вот этому — никто. Этому вообще не учат.

Моя пошла на меня по шпалам, стелясь, и я встретил её, как учили: шаг вбок, дубинка снизу.

БУ-О-ОНК.

Пока она летела, я уже разворачивался ко второй — эта была умнее, она шла за первой в паре, уступом, как я за Алёной утром, и на развороте я понял, что дубинкой не успеваю. Успела ладонь. Тварь врезалась в меня всем весом, мы покатались по насыпи, пахнуло старым пеплом и псиной, зубы лязгнули у самого горла — а ладонь уже лежала на плечевом суставе. Под кожей прощупывалась двойная головка и тот же замок-фиксатор, который я снял с первого охотника. Не вся тварь — одна знакомая сборочная связь. Я нажал в её основание.

[Расщепление] сработало мягко, как выключатель.

Лапа отстегнулась. Тварь взвыла, покатилась с насыпи, и добил её уже Палыч — походя, в упор, не сбавляя шага, потому что шёл он не ко мне, а к прорехе в кольце, где было хуже.

Гончая, которую я огрел дубинкой, поднялась и ушла

вслед за хромой за вагон. Из девяти трое лежали мёртвыми, двое отступили, четверо ещё держали кольцо.

А хуже было вот что: эти четверо перестроились. Отошли, разошлись шире, легли в бурьян — и я увидел через двор, как из-за гаражей к ним идёт подкрепление: ещё силуэты, три или четыре, низкие, скорые. Стая собирала стаю. Алёна дала ещё три одиночных по краю бурьяна, не позволяя им замкнуть заход. Восемьдесят три, восемьдесят два, восемьдесят один. Стая не приближалась — ждала подкрепления.

— Хозяин! — заорал Млякс из капюшона. — Не вздумай! Я вижу, куда ты полез рукой, — НЕ СМЕЙ! Костяной не трогай!

Рука моя и правда лежала на манке — на том, с туши первого охотника, что висел у меня на шее бесполезным сувениром. Позвать. Стая слышит манок. Стая идёт на манок...

— Ты не знаешь, ЧЬИМ голосом он зовёт! — Млякс вцепился мне в ухо. — Это погонщицкий манок, они пойдут на него, как на хозяина, а хозяином там может оказаться кто угодно, включая того, кто их бросил! Не костяной! ГЛИНЯ-НЫЙ!

Глиняный. Свистулька из синей капсулы. Звук, который слышат только демоны, — и слышат его не как звук, а как «сюда» или «туда».

Я выдернул свистульку из нагрудного кармана — она лежала там с вечера вскрытия, потому что хомяк велел носить полезное на себе, и я впервые в жизни мысленно расцеловал

своего хомяка, — набрал воздуха и просвистел «туда». Из всех сил. В сторону — за гаражи, за пустырь, к чёрту, куда угодно от колонны.

Люди не слышали ничего. Ни звука — я видел по лицам: Таня, занесённый половник, недоумение.

Гончие слышали все.

Четыре в бурьяне вскинули слепые морды разом, как по команде. Силуэты у гаражей встали. Секунду висело это общее слепое «куда?» — а потом дальние развернулись и пошли на фантомный зов, скоро, охотно, срываясь в намёт, и двое из ближних не выдержали и потекли следом. Я смотрел, как уходит стая, оставшаяся восемь дней назад без погонщика, и видел по их спинам, по вытянутым шеям: они бежали не на добычу. Они бежали на голос, который наконец сказал им, что делать.

Оставшихся двух, потерявших кворум, Алёна сняла двумя выстрелами, и стало тихо.

— Семьдесят девять, — сказала она в тишине. — Доктор. Что это было?

— Логистика, — сказал я. Меня начинало трясти — честным, законным послебоевым тремором. — Потом покажу. Идём, пока они не поняли, что «туда» — это никуда.

[Устранены: гончая (одичавшая) — 5. Начислено: 130.]

До двери дошли рысью и без потерь — если не считать порванного рукава у работяги Севы, царапины через всю скулу у старшего подростка, которой тот немедленно начал гор-

диться, и Таниного половника, у которого погнулась ручка. У рыжего контура колонна сгрудилась, и я впервые посмотрел на свою дверь чужими глазами: стена гаража, тупик, серое пятно на бетоне — и всё. Двадцать три человека смотрели на голую стену, и на лицах у них было написано понятное.

— Смотрим сюда, — сказал я, встал у контура и положил ладонь на створку. — Правила простые. Внутрь заходит тот, кого я назвал. Перед этим я каждого осматриваю — вот здесь, у стены. Осмотр — это осмотр: горло, глаза, шея, руки. Врач я или нет. Кто осмотр не проходит... — я сделал паузу и честно закончил: — Такого пока не было. Но у меня в доме дети, и я уже дважды убедился: человек у двери может оказаться не тем, кем назвался. Поэтому порядок один для всех. Вопросы?

— А чего она светится? — спросил подросток с царапиной.

— Потому что работает, — сказал я. — Начали. По одному. Зинаиду Марковну — первой, ей стоять тяжело.

Это был самый длинный час моей новой жизни. Двадцать три осмотра у стены мёртвого гаражного тупика, под прикрытием двух стволов, на нервах, на остатках послебоевой трясучки. Я смотрел зрачки, считал пульс на запястьях, заглядывал в глотки, вёл пальцами по шеям над воротниками — и каждый раз, убирая руку, думал одно и то же, коротко и зло: Гришу я тоже смотрел — и увидел ровно то, что он хотел мне показать. Глаза врача — не гарантия. Глаза врача

— это просто всё, что у меня есть.

Заодно этот час стал моим первым настоящим приёмом. Зинаида Марковна получила диагноз, который знала, и обещание, в которое не поверила, но запомнила. Мужу с кри-
вым предплечьем — Фёдор, тракторист, ломался о собствен-
ный трактор ещё до всякого апокалипсиса — я, прощупав
костную мозоль, честно сказал:

— Срослось криво. Болит?

— К погоде.

— Погода тут не меняется, так что заживёшь. А захочешь
по-хорошему — приходи, когда обустроимся. Сломаю об-
ратно и сложу как надо.

— В смысле — сломаешь? — Фёдор отодвинулся вместе
с рукой.

— В хорошем смысле, — сказал я, и очередь за его спиной
нервно хихикнула. С этого «сломаю обратно» у меня, подо-
зреваю, началась репутация.

Студента звали Костя. У него было истощение, треснув-
шее очко в оправе и цепкий, несмотря ни на что, взгляд, ко-
торым он на осмотре пересчитал мои инструменты, мою ап-
течку и, по-моему, мои зубы.

— Вы правда врач? — спросил он.

— Я хуже. Я учёный.

— А-а, — сказал Костя с облегчением. — То-то я смотрю,
методика есть. У нас на пятиэтажке я запасы считал. Логис-
тику могу. Только скажите честно: там, внутри, — он кив-

нул на стену с контуром, — метрика какая? Ну, система измерений. А то я слышал, как ваш зверь говорил «меры», а мерить надо в чём-то одном, иначе учёт поплывёт.

Я посмотрел на этого голодного очкарика, который перед дверью в демонический карман беспокоился о единстве системы измерений, и понял, что Зузлик сегодня получит лучший подарок за четырёста лет.

— Гость, — говорил я створке после каждого осмотра. — Один.

И они входили — по одному, из серого тупика в рыжий свет, и я слышал, как по ту сторону ахают, потому что по ту сторону их принимала Вера с кипятком, Зузлик с книгой, разложенной на ящике, как алтарь, и Соня, которая, по докладам, выстроила детей пятиэтажки в очередь и знакомила каждого с Кусей персонально.

Последними вошли Палыч с Найдой и я. Собаку я называл отдельно: «Домашняя живность. Живое сопровождение». Палыч держал ошейник, пока терминал подтверждал допуск. Найда прошла без изъятия и без места в списке жителей.

Вход в зал я не забуду, наверное, никогда — не свой, их вход. Люди из подвального мира, восемь дней прожившие в бетонной коробке при свечах, выходили из серого тупика — и оказывались под сводом из рёбер, под рыжими светильниками, на чёрном тёплом полу, в пространстве размером с вокзал. Кто-то садился на корточки и трогал пол ладонью.

Кто-то задира́л голову и стоял так, покачиваясь. Таня, войдя, первым делом посмотрела не вверх, а на печную трубу избы — дымит ли, — и лишь потом позволила себе всё остальное. Фёдор-тракторист сказал «ёшкин свет» — и по инерции перекрестился на терминал, чем, кажется, польстил ему до глубины стелы.

Детей пятиэтажки принимала Соня. Она построила свой актив — Максима и Алису — встречающей делегацией и вела экскурсию голосом музейного работника: «Это печка, она горячая. Это Федя, он квакает двумя способами, один плохой. Это Зулик, у него книга, он всех записывает, не бойтесь, это не больно. За водой — вон туда, там потолок плачет».

Зулик переживал звёздный час. Массовое поступление душ он оформлял стоя, торжественно, требуя у каждого имя полностью, и когда Костя-студент в свою очередь спросил его, чему равна «мера» в метрах, Зулик замер с пером на весу, посмотрел на Костю долгим взглядом существа, четыреста лет не встречавшего родственной души, и произнёс: — Юноша. Оставайтесь после переписи.

Расселение вышло честное и тесное: изба — детям, женщинам, старухе и лежащему Вите, остальным — двор, брикетные лежанки, будка и «как в армии, только потолок выше», по выражению Палыча, который лично развёл свой личный состав по местам, а сам занял пост у двери, сменив Алёну, не спавшую вторые сутки.

Найда обошла весь периметр, всё обнюхала, задержалась у полки с суставами охотника — шерсть на загровке встала и легла — и улеглась в итоге поперёк входа в избу, мордой к двери, из чего я заключил, что охрану детей она назначила себе сама.

Двор гудел. Тридцать три души на пространстве, где неделю назад нас было четверо. Таня уже ругалась с Верой насчёт кухни — вернее, они через полминуты обнаружили, что ругаются об одном и том же с одинаковых позиций, и заключили союз, от которого у меня заранее заныло где-то в области кладовой. Геннадьич водил Палыча вдоль стройплощадки, и оба присели у колышков одновременно, как два грача. Зузлик писал. Зузлик писал так, что перо дымилось, и на морде его было выражение счастья, несовместимого с четырёмсот-летним стажем.

Я стоял у терминала и ждал сводку. Она пришла — ровная, учётная:

[Жителей: 10 из 20. Гостей: 23. Учтено душ: 33.]

Прописать десятерых я не успел — сначала лазарет, потом расселение, прописка была назначена на вечер. Терминал мигнул и продолжил:

[Плотность душ: аномальная для объекта уровня 0.]

[Профиль объекта обновлён.]

[Данные переданы в реестр учёта.]

— Млякс, — сказал я, не отрывая глаз от строк. — Переведи последнюю.

Млякс прочитал. Сел на стелу. Уши его совершили полный оборот от «торчком» до «прижаты намертво».

— Тридцать три души на нулёвке, хозяин, — сказал он тихо. — Это как костёр в голой степи. До сих пор в реестрах значилось: заброшенная дыра, один чудака, горстка приبلудных. А теперь там значится посёлок. Живой, растущий, жирный. И реестр, — он сглотнул, — реестр у нас читают все, у кого есть допуск. Мы только что стали видны, хозяин. Целиком.

Глава 3

— И что делают в степи, когда костёр уже виден? — спросил я, не сводя глаз со строк.

— Подбрасывают дров, — сказал Палыч от двери. Он не подслушивал — он стоял на посту, а пост у него, судя по всему, включал в себя всё, что происходит в радиусе слышимости. — Раз уж всё равно светишься — свети так, чтоб побаивались подходить.

Млякс на стеле медленно повернул к нему одно ухо, потом второе. По движению ушей я понял, что демон-распределитель только что пересмотрел своё мнение о людях с помповыми ружьями в лучшую сторону.

— Ваш начальник караула, — сказал он мне, — только что сформулировал стратегию развития, которую в Пределах продают за деньги. Подбрасывают дров. Да. Именно так. Ужас в том, хозяин, что он прав: спрятаться мы уже не можем. Значит, надо дорожать быстрее, чем нас оценят.

— Тогда начнём с прописки, — сказал я. — Зузлик! Вечернее заседание. Неси книгу.

Книга легла на ящик, и ящик на этот вечер стал государственным учреждением. Зузлик расправил разворот, продул перо и вскинул на меня снизу вверх взгляд, в котором горело всё то, ради чего он, по-видимому, четыреста лет не увольнялся.

— Свободных мест — десять, — сказал я Палычу. — Жителей у меня по уставу двадцать, десять занято. Житель получает довольствие, гость — нет. Выбирать тебе: твои люди.

Я ожидал совещания, споров, может, даже голосования — что-нибудь долгое, человеческое, со счётами и обидами. Палыч продиктовал десять имён, не заглядывая ни в какую бумажку, со скоростью человека, у которого этот список был составлен и отсортирован давно, ещё до того, как я открыл рот.

— Ленка с дитём — это раз и два. Дети, все четверо, — это шесть. Зинаида Марковна — семь. Подростки — девять. Тимофеевна — десять. — Он поймал мой взгляд и пожал плечами. — Порядок простой: сперва те, кто без пайка погрёт, потом те, кто без пайка озвереет. Мужики потерпят. Я — тем более: я по ведомству охраны, мне довольствие по должности не положено, пока объект не сдан.

— Объект не сдан? — переспросил я.

— Объект в процессе приёмки, — сказал Палыч, и по голосу было не понять, шутит он или у него правда где-то в голове лежит акт.

Зузлик писал. Перо скрипело, имена ложились в столбец, и с каждой строкой со двора доносилось короткое системное «дзынь» — так, оказывается, звучит превращение человека в статью довольствия. Ленка расплакалась на слове «житель». Зинаида Марковна потребовала показать, где расписываться, и, узнав, что расписываться не надо, оскорбилась — у неё

за плечами было шестьдесят лет документооборота, и она не привыкла существовать без подписи.

Терминал дождался десятой строки и выдал:

[Жителей: 20 из 20. Поселение: полное.]

[Начисление за прирост поселения: +140.]

— За шестерых давали восемьдесят, — тут же сообщил Млякс, который считал быстрее, чем терминал печатал. — За десятерых — сто сорок. Не ищи здесь математику, хозяин, я одиннадцать тысяч накладных заполнил, математики там нет. Там есть тарифная сетка. Это разные науки.

Касса встала на две тысячи триста пятьдесят. Я успел подумать, что цифра приятная, круглая, — и терминал немедленно доказал, что думать при нём такие мысли нельзя:

[Условие «Поселение, полное»: выполнено.]

[Доступно повышение уровня объекта. Взнос: 2 000.]

[Подтвердить?]

Двор притих. Строки висели в воздухе, рыжие, спокойные, и предлагали мне уровень — вот прямо сейчас, сегодня, за один рычаг. Внутренний хомяк вытянулся столбиком и прижал щёки. Две тысячи — это почти всё, что есть. Внутренняя жаба даже не квакнула — она легла на кассу всем телом и сделала вид, что умерла.

— Хозяин, — начал Млякс осторожно, — я обязан озвучить, что предложение...

— Считаем, — сказал я. — Вслух и по ГОСТу. Костя!

Студент возник из темноты с блокнотом наперевес так

быстро, будто всю жизнь ждал, что его позовут именно этим словом. За ним подтянулись Геннадьич с термосом, Толя, Алёна — совет собрался сам, без объявления, как собирается очередь.

— Вариант первый, — сказал я. — Плачу две тысячи, получаю уровень сегодня. В кассе остаётся триста пятьдесят. Домов как был один, так и остаётся один, и тридцать три души продолжают спать вповалку: половина — на брикетах под открытым сводом. Вариант второй: утром выносим из города четыреста кило дерева и шестьдесят металла, строим второй дом за пятьсот, ставим в ось позвонок — уровень тот же, но в кассе тысяча восемьсот пятьдесят, и у людей крыша. Вопросы?

— Один, — Костя поднял карандаш. — А позвонок точно сработает? Если нет — вы потеряете день, а у вас, — он покосился на мой нагрудный карман, и я отметил, что про лист явки уже знает весь личный состав, — а у вас срок.

— Совместимость полная, установка доступна, требование — два опорных фонда, — сказал я. — Это не гипотеза, это витрина. Система много чего умеет, но в спецификациях она не врёт. Врать в спецификации ей, судя по всему, религия не позволяет.

— Тогда чего считать. — Толя пожал плечами и сипло, со щелчком, откашлялся. — Ворота в гаражах — вот они, я три штуки из двери присмотрел. Петли гнилые, металл живой. Шпалы у переезда штабелем лежат, ещё довоенные, их

креозотом на сто лет вперёд пропитало. Не такие объекты поднимали.

— Система, — сказал я терминалу, — предложение оценил. Отказ.

[Предложение сохранено в меню.]

— Ишь ты, — сказал Геннадьич с уважением. — Обиделась, но виду не подаёт.

Млякс сполз со стелы мне на плечо и произнёс в самое ухо, тихо и почти нежно:

— Ты сейчас отказал системе в двух тысячах, хозяин. Я с ней двенадцать лет и одиннадцать тысяч накладных. Так вот, послушай человека, то есть демона, с опытом: она не обижается. Она записывает.

Между лопатками прошёл холодок — ровный, казённый, как сквозняк из-под двери архива. Я велел себе считать его сквозняком.

План на утро собрали за полчаса, и это были хорошие полчаса — из тех, когда каждый в разговоре знает своё дело и не лезет в чужое. Толя рисовал углём на доске схему гаражного ряда — какие ворота брать, в каком порядке, где подпереть, чтоб не легло на ноги. Витя руководил из избы через открытую дверь — лежать молча при звуке слов «петли» и «демонтаж» он не мог физиологически, и его сиплый голос вклинивался в схему поверх Толиного — «съёмник не выдумывайте, берёте лом, полотно на себя и вбок, петля сама скажет, когда ей хватит». Алёна распределяла прикрытие —

она с автоматом на точке между гаражами и переездом, Гриша — на крыше гаражного ряда, глазами.

— Наблюдатель докладывает голосом, — сказала она. — Тихим. Никакого героизма, увидел строку — сказал, дальше решаю я.

— Строку я вижу за квартал, — отозвался Гриша со своего места. Он сидел на брикете с краю круга, там, где свет гирлянды уже сдавался темноте, и с вечера прописки смотрел на всё это хозяйство, как инженер на чужой, но интересный стенд. — За квартал и скажу. Голосом. Я, гражданин начальник караула, своё отгеройствовал: двое суток хромал на здоровых ногах, куда уж дальше.

Порог считал Костя. У него в блокноте уже жила таблица. Четыреста шестьдесят кило общим весом, лимит переноса — пять кило на душу за проход, значит, девяносто два прохода, значит, при конвейере из двенадцати человек — восемь полных кругов на брата, а круг — это не двадцать метров до порога, круг — это снять, распилить, донести. Полчаса на круг, выходило меньше пяти часов. Костя доложил это с гордостью человека, который впервые в жизни применил высшее образование по назначению, и Зузлик, заглянув в его таблицу, издал звук, который у демонов его ведомства, видимо, означал «беру в аспирантуру».

— С рассветом начинаем, — подытожил я. — Рассвет в шесть тридцать, Геннадьич уточнял по своему графику: солнце с каждым днём встаёт раньше, будто ему тоже ней-

мётся. К полудню я должен стоять в этой двери с уровнем за спиной.

— А в полдень что? — спросила Таня, которая слушала совет от кухни, помешивая в баке.

— А в полдень у хозяина приём у заинтересованных лиц, — сказал Млякс раньше, чем я успел открыть рот, и по тому, как ровно он это произнёс, было слышно, чего ему стоила эта ровность.

Укладывались долго — тридцать три души не умеют ложиться быстро, это я уже выучил. Изба набилась до последнего топчана, двор шуршал, кашлял, скрипел брикетами, где-то мать пела грудничку без слов, на одном гудении, и гудение это было древнее любой системы. Соня провела вечерний обход своего актива — проверила Алису, поправила на ней чужую куртку, а Максиму молча сунула Кусю — деловито, как сдают пост.

— До ста, — сказала она. — Ты опять весь день молчал. Куся будет считать.

Максим взял куклу и кивнул. Найда, лежавшая поперёк входа в избу, подняла голову, посмотрела на детей долгим собачьим взглядом — и опустила морду обратно на лапы.

Я не спал. Стоял у терминала, листал витрину — не покупать, просто смотреть, как смотрят на витрины все нищие люди во всех мирах. Лаборатория химерологии, профильный модуль, миллион двести пятьдесят тысяч. В пепле, разумеется, — других валют здесь не водится. Цифра не меня-

лась от разглядывания. За миллион с четвертью мне предлагали смысл жизни — столы, штативы, инкубационные ниши, ростовые ванны — всё то, из чего меня выдернуло восемь дней назад вместе с халатом и недорезанным голубем. Хомяк тихо перебирал лапами — копи. Жаба молчала — не отдавай. Лист явки лежал в нагрудном кармане, рядом с зелёной лампочкой, и грел сквозь ткань — печать не остывала вторые сутки, как небольшая персональная изжога.

— Ты думаешь про явку, — сказал Млякс с плеча. Он тоже не спал. Подозреваю, что в эту ночь на тридцать три души спящих приходилось изрядно неспящих.

— Я думаю про формулировку, — сказал я. — «Явка добровольная», а решение примут по факту неявки. Это не приглашение, Млякс. Это выбор между подсудимым и заочно осуждённым.

— Это выманивание, — сказал Млякс просто. — Я тебе говорил на совете и повторю сейчас, пока никто не слышит: владельца не берут дома. Дома у тебя порог, привязка, стены. Тебя зовут туда, где всего этого нет. И ты пойдёшь, потому что не пойти хуже. Я это знаю. Я только прошу: приди туда дорогим. Уровень, полное поселение, учтённый фонд — пусть в их бумагах ты будешь не «чудак на нулёвке», а актив с описью. Активы с описью не исчезают бесследно. По активам с описью, — он вздохнул, — положено делопроизводство.

Где-то за избой одиночно, спокойно квакнул Федя. Здо-

ровый квак, штатный. Я дослушал его до конца, и только когда тишина простояла целую минуту, обнаружил, что всю эту минуту простоял не дыша.

Рассвет пришёл серый, аккуратный, по расписанию Геннадьича. В шесть тридцать пять бригада стояла у двери — двенадцать мужиков в рабочем, Алёна с автоматом, Гриша в своём нелепом пальто, Толя с ломом наперевес, как со знаменем. Зузлик восседал на ящике у самого контура с раскрытой книгой — ему предстояло принять на баланс четыреста шестьдесят килограммов, и морда у него была торжественная, как у композитора перед премьерой.

— Двадцать шестое марта, — продиктовал он сам себе, выводя строку. — День девятый. Операция «фонд строительный». Начало — по готовности владельца.

— Готов, — сказал я и открыл дверь.

Город за порогом стоял тихий, выставший за ночь, и в утреннем свете проступало то, чего днём не разглядеть: изморозь на воротах гаражей, ровную, нетронутую — ни одна тварь за ночь не прошла тупиком. Работа пошла с первых минут, и пошла так, что стало видно, на что эти люди потратили восемь дней осады — не только на страх. Толя у первых ворот работал ломом, как хирург зажимом. Подача, упор, короткое движение — и полотно, охнув ржавчиной, сходило с петель в четыре пары подставленных рук. Он гладил металл ладонью и ставил диагнозы — «живой», «крашенный, под краской язва, но живой», «этого не берём, этот гни-

лой насквозь, как отчётность у моего ЖЭКа».

Первые же ворота на весах Кости — весами служил безмен из будки и система рычагов, собранная Геннадьичем из лома и такой-то матери — потянули на сорок один килограмм. Их разрезали на девять кусков воротным же уголком и ножовкой, и конвейер пошёл. Человек берёт пять кило, два квартала не проходит — проходит двадцать метров до тупика, порог, «дзынь» строки поступления, разворот, обратно. Зуслик писал безостановочно. К седьмому часу утра его записи стали напоминать поэму — «металл листовой, оцинкованный, пять кг ровно, несён Севой, походка уверенная».

— Он что, походку в опись пишет? — тихо спросил я Млякса.

— Он счастлив, хозяин, — ответил Млякс тем же шёпотом. — Не мешай. Демон его ведомства последний раз видел живое движение фонда четыреста лет назад. Дай ему походку.

Со шпалами вышло тяжелее и веселее. Штабель у переезда действительно оказался довоенным — шпалы срослись между собой в единый организм, и первый час бригада воевала с ними, как с крепостной стеной. Потом Фёдор-тракторист, до того молчавший, отодвинул всех кривой своей рукой, обошёл штабель кругом, поплевал на ладони и показал, куда бить и где качать, — и стена рассыпалась на брёвна за двадцать минут. Выяснилось, что он этот штабель когда-то сам и складывал.

— Я его складывал, чтоб стоял, — пояснил он, крестясь на упавшую шпалу. — А как сложено, так и разбирается, тут секрета нет. Секрет — когда сложено дураком, вот тогда наука.

К десяти утра во дворе Пристанища лежали две горы, и Костя с блокнотом объявил результат голосом диктора, зачитывающего сводку с фронта. Древесины — четыреста восемь килограммов, металла — шестьдесят три. С запасом. Бригада стояла вокруг, мокрая, ржавая, в креозоте, и смотрела на горы с тем особенным выражением, с каким смотрят на материализованную зарплату.

Один раз за утро работа встала. В начале девятого Гриша со своей крыши сказал негромко и без выражения:

— Строка. Собиратель, ранг D, два квартала, идёт вдоль путей.

И двенадцать человек беззвучно, в отработанном за восемь дней осады темпе, стекли с гаражей и легли между шпал. Алёна легла за колесо и повела стволом по конькам. Конвейер умер без команды: ножовка замерла в середине зуба, и в наступившей тишине стало слышно, как пощёлкивает остывающее железо.

Я стоял в дверном проёме тупика. За дальними крышами что-то двигалось — размеренно, по-хозяйски, — и потом вышло на конёк длинного дома у путей: высокая тонкая фигура, идущая по гребню крыши, как по тротуару, шагом существа, которому в этом квартале никогда никто не воз-

ражал. Одна рука свисала вдоль тела до самого колена. На коньке фигура остановилась — лицом в нашу сторону, — и весь тупик разом: двенадцать человек под шпалами, я в проёме, Млякс у моего сапога — перестал дышать, как один большой организм. Потом фигура повела длинной рукой по горизонту — словно пересчитала крыши, — и пошла дальше, за изгиб путей, не меняя шага.

Толя лежал рядом со мной и тихо, как чешут собаку за ухом, почёсывал лом по ржавчине.

— Спокойно, — просипел он. — Мимо идёт. По своему делу. Так и мы — по своему.

— Откуда знаешь?

— Тридцать лет в ЖЭКе. Я таких прохожих видал: кто по своему идёт — тот и есть самый страшный. Главное — под руку ему не попадаться.

Млякс выдал из-за сапога ровно одну строку, вполголоса:

— Ранг D. Идёт мимо. Значит, сегодня нам повезло. Либо она уже собрала.

Гриша на крыше молчал ещё минуты две, смотрел. Потом так же негромко, без выражения: «Ушла строка». Десять минут — от первой строки до последней — и конвейер возобновился с того же места, как плёнка после паузы.

Стройку начали в половине одиннадцатого. Я подошёл к терминалу, открыл витрину и выбрал строку, которую читал ещё в первую ночь, когда у меня было пять кило досок и много самоуверенности, — «Дом базовый, сборка. Древеси-

на: 400. Металл: 60. Пепел: 500».

[Материалы: предоставлены. Разместите на площадке возведения.]

Дальше случилось то, ради чего, я считаю, стоило прожить эти восемь дней. Горы перетаскали на размеченную стройплощадку — Млякс бегал по периметру верёвки и визжал на каждого, кто заступал за колышек, — я подтвердил, дёрнул рычаг, и пол Пристанища открылся. Не разошёлся, не треснул — открылся, как открывается ладонь. Чёрная тёплая поверхность разложилась лепестками, и четыреста восемь кило дерева и шестьдесят три металла ушли вниз плавно, как в мёд. Пол закрылся. Секунд десять не происходило ничего.

А потом из-под земли начал расти каркас. Костяной, белый, знакомой мне до тошноты архитектуры — те же двойные головки, те же замки-фиксаторы, что жили у меня на полке в статусе образцов. Рёбра выходили из пола одно за другим, с сухим шелестом входя в пазы, и на глазах у тридцати трёх молчащих душ собирались в остов дома. По остову побежала обшивка — и я узнал доски. Наши доски, гаражные, со следами зелёной краски, только теперь они лежали ровно, плотно, шов в шов, будто их всю жизнь строга́ли под этот проект. Печная труба вышла из конька последней и встала с коротким костяным щелчком.

— Мы не создаём, — сказал я вслух, вспомнив запись первую дробь триста четырнадцать. — Мы собираем.

— Вот поэтому я и работаю в распределении, — сказал Млякс с непередаваемой гордостью, будто дом собрал лично он. — Творчество — это когда непредсказуемо. А у нас — сборка по спецификации. Красота.

[Возведение жилого фонда: завершено. Опорный жилой фонд: 2.]

[Вклад поселения в развитие объекта: зачтён.]

— Зачтён, — повторил Млякс медленно, взвешивая слово, как гирю. — Хозяин, запомни это слово. За работу система либо платит, либо «зачитывает». «Зачтён» — это значит «потом». У «потом» в этом мире бывают очень интересные проценты.

Таня уже стучала кулаком по свежей стене нового дома — стена отзывалась глухо и добротнo.

— А печка? — потребовала она. — Печка настоящая?

— По спецификации, — сказал я. — Проверяйте. Если что — претензии в четвёртое делопроизводство, у меня как раз сегодня приём.

Таня проверила. Обошла дом по периметру с лицом приёмочной комиссии, заглянула под свес, толкнула дверь плечом, сунула голову в устье печи и долго там молчала. Вердикт вышел коротким и высшим из возможных — она ничего не сказала, а просто пошла за баком. Кухня переезжала в новый дом явочным порядком, не дожидаясь актов.

Позвонок несли втроем — я, Геннадьич и Фёдор. Двенадцать кило старой слоновой кости, тёплой, как живая, с ра-

бочей резьбой по опорному торцу. Точка установки нашлась сама: между избой и новым домом, в геометрическом центре оси, пол Пристанища уже приготовил гнездо — тёмное углубление с ответной резьбой, которого вчера здесь не было. Я примерился, поставил позвонок вертикально и повернул.

Он пошёл сам. С третьего оборота резьбу повело из-под моих рук — позвонок ввинчивался в пол с нарастающим глубоким звуком, какой бывает, когда проворачивается что-то очень большое и очень старое, и на последнем обороте весь свод — все рёбра, от двери до терминала — отозвался одной длинной вибрацией, которую я почувствовал зубами и почему-то селезёнкой.

Свод дрогнул и раздался. Я видел это своими глазами и всё равно не верил. Рёбра над нами удлинились, шаг между ними стал шире, светильники — каждый пятый, рыжие — вспыхнули ярче и чаще, теперь горел каждый третий. Пол потеплел. Из ложбины водосбора долетел азартный вопль Толи: «Пошла! Вода пошла веселей!» Терминал печатал, не останавливаясь:

[Установка предмета «Позвонок осевой, ростовой»: завершена.]

[Уровень объекта: 1.]

[Целостность привязки: 120%.]

[Доступны меню: ремонт, планировка, реестр объекта.]

— Сто двадцать, — сказал Млякс севшим голосом. —

Процентов. Хозяин. У тебя дом теперь здоровее, чем ты. Существенно здоровее.

Двор орал. Обнимались, стучали по новой стене, Фёдор крестился на свод размашисто, как на пасху, Зинаида Марковна с носилок утверждала, что всё это она предвидела ещё вчера. Соня немедленно повела делегацию детей на инспекцию нового дома. Вера на радостях обняла меня — коротко, крепко, по-хозяйски, — и организм в свои сорок пять откликнулся с энтузиазмом двадцатипятилетнего тела, которому я в очередной раз напомнил, что у нас режим и явка.

А я открыл витрину. Мне полагалось радоваться вместе со всеми — уровень, целостность сто двадцать, крыша над тридцатью четырьмя головами, — и я радовался, честно, но учёный внутри меня хотел проверить одну догадку. Догадка была простая и гадкая.

Лаборатория химерологии.

Один миллион четыреста тридцать семь тысяч пятьсот.

Ночью было миллион двести пятьдесят. Я перечитал трижды. Пятнадцать процентов. Ровно, до копейки, без объяснений — просто цифра стала другой, как будто всегда такой и была.

— Млякс.

Он заглянул в витрину. Уши сложились медленно, скорбно, как складывают знамя.

— Индексация, — сказал он. — Ты вырос, хозяин. Поздравляю. Вместе с тобой выросло всё, что ты хочешь. Си-

стема не умеет бесплатно — она даже дорожает за твой счёт. Ты теперь уровень один: значит, и мечта у тебя теперь классом выше. По прейскуранту.

— То есть чем быстрее я расту...

— ...тем быстрее дорожает то, ради чего растёшь. Да. — Млякс развёл лапами. — Добро пожаловать в экономику Пределов. Здесь морковку не просто вешают перед носом — её ещё и индексируют.

Глава 4

Я закрыл витрину. Жаба внутри меня молчала трагически, хомяк пересчитывал тысячу восемьсот пятьдесят и отказывался комментировать.

— Теперь опись, — сказала Вера у меня за спиной. — Пока ты не ушёл к своим заинтересованным. Эвакуация корпуса. Обещал.

Она протянула кружку. Я взял; пальцы у неё были тёплые, на большом — свежая белая полоска от бревна.

— Вывели колонию мышей с флуоресцентной меткой, — сказал я. — Аспирант плохо закрыл клетку. Вечером дежурный увидел зелёные огоньки в вентиляционной решётке и доложил об утечке неизвестного вещества.

Вера посмотрела на меня поверх своей кружки.

— Мыши светились?

— Очень убедительно. Особенно когда бежали по потолку.

— И ты эвакуировал корпус.

— Я мог сначала выяснять, что утекло. Только в корпусе ещё оставалась вечерняя группа. Вывел людей, закрыл вентиляцию, пошёл ловить.

— Всех поймал?

— Мышей — да. Людей пересчитывали дольше. Один доцент ушёл через запасной выход и вернулся за портфелем,

когда его уже считали пропавшим.

Вера улыbnулась — сначала одним уголкем губ, потом перестала сдерживаться.

— А премию дали?

— За другую работу. За эту дали новое правило: Артёма Ильича после восьми в корпус одного не пускать.

— Правильное правило.

Она поправила мне ворот халата. Задержала ладонь у ключицы на секунду, которой вполне хватило, чтобы я забыл про индексированную лабораторию.

— Здесь после восьми тоже один не ходи, — сказала она.

— Если опять что-нибудь засветится — меня позови. Мышей отличать я умею.

Я допил чай. Записать рост цены можно было потом. Сейчас у меня был дом, который мы только что построили, и человек, которому я обещал вернуться.

Полдень собирался над Пристанищем честно и неотвратимо. Я переоделся в чистый халат — второй, из капсулы, припасённый на случай, который я сам себе не формулировал, — и вышел к двери. У двери уже стояли Алёна — с автоматом, в полной сборке, свежая, злая и выпавшаяся — и Млякс, который влез мне в капюшон молча, по-деловому, как садятся в служебную машину.

— Порядок на время явки, — сказал я двору, и двор затих. — Старший по обороне — Палыч. Старший по хозяйству — Вера с Таней. Старший по учёту — Зузлик. Гриша —

на крыше нового дома внутри. Смотри и на дверь, и на двор. С поста не уходить, обо всём докладывать Палычу. Дверь после нас закрыть и не открывать никому, кроме нас. Совсем никому. Если постучит кто-то голосом человека — тем более не открывать: наших людей снаружи не осталось.

— А если вы не вернётесь к ночи? — спросил Палыч. Без драмы, по-военному — уточнял вводную.

— Вернёмся, — сказал я. — У заинтересованных лиц ко мне интерес. Интерес — это надолго. То, что приносит проценты, не убивают.

— Такие, как они, — сказал Млякс из капюшона очень тихо, только для меня, — хуже. Такие, как они, оформляют.

Часы показывали одиннадцать десять. До конца окна — полчаса; на дорогу оставалось двадцать минут. Лист явки я достал из кармана уже на пороге. Печать была горячая — горячее, чем утром, горячее, чем вчера, — срок созревал во мне, как нарыв. Я развернул лист, и рыжие буквы приглашения шевельнулись, перестраиваясь, — добавилась строка, которой раньше не было:

[Ожидаем. Сопровождение: допускается. Опоздание: не рекомендуется.]

— Вежливые, — сказала Алёна и проверила предохранитель.

Я шагнул в контур.

— Тянет влево, — сказал я. — Значит, нам влево.

Лист явки работал компасом. Я держал его на раскрытой

ладони, и рыжая печать грелась то сильнее, то слабее, как игра в «горячо-холодно», в которую я последний раз играл лет сорок назад и по которой не скучал. Печать была за «горячо». За «холодно» отвечало всё остальное — город.

Мы шли уже двадцать минут — я впереди с листом, Алёна на полшага сзади и левее, стволom по секторам, Млякс в капюшоне, тихий, как просроченная справка. Маршрут вёл не к вокзалу и не к площади — он вёл дворами, и дворы эти были выметены. Не в переносном смысле. Среди города, засыпанного пеплом, стеклом и тем, о чём я старался не составлять мнение, лежала полоса чистого асфальта шириной в ковровую дорожку — и тянулась она ровно туда, куда тянула печать.

— Дорожку постелили, — сказала Алёна, не поворачивая головы. — К нам так комиссия приезжала в часть. Плац красили за ночь.

— Плац хотя бы красили свои, — отозвался я. — Кто выметает дорожку в мёртвом городе?

— Те, кто не любит пыль на документах, — сказал Млякс из капюшона. Голос у него был ровный и без интонаций, из окошка выдачи справок, и я знал этот голос — так он говорил, когда боялся по-настоящему.

Приёмная обнаружилась в четвёртом по счёту дворе-колодце — если слово «приёмная» вообще применимо к тому, что мы увидели. Посреди двора, между сгоревшей «газелью» и детской горкой в виде слона без хобота, стоял стол.

Длинный, канцелярский, крытый зелёным сукном, с тремя стульями по дальней стороне. Над столом не было крыши — над столом было мартовское небо, и в этом небе не летало ничего, что летает над остальным городом. Перед столом стоял один стул. Пустой. С прямой спинкой.

За столом сидели трое.

Организм отработал раньше головы — шаг сбился, ладони пошли холодом, и только потом голова разложила увиденное по полочкам и доложила, что именно не так. Не рост — обычный. Не одежда — пиджачные пары пепельного цвета, я такую уже видел. Лица. У всех троих были лица — обычные, человеческие, из паспортного стола, — и все три лица сидели на головах с той же степенью родства, с какой сидит на человеке казённый халат. У левого лицо было чуть велико и еле заметно съезжало к подбородку. У правого — чуть мало, и кожа на скулах натягивалась, как перчатка не по размеру. У среднего лицо сидело идеально. Почему-то именно от среднего хотелось отойти подальше.

— Владелец Пристанища номер один Земли, — сказал левый. Голос шёл изо рта, как положено. — Ильин Артём Ильич. Явка в срок. Отмечено.

— Сопровождение: двое, — сказал правый. — Допустимо. Отмечено.

Средний ничего не сказал. Средний смотрел.

— Присаживайтесь, — сказали левый и правый одновременно, и от этой синхронности у меня заныли зубы.

Я сел. Стул был холодный и стоял так, что солнце — белое, мартовское — светило мне ровно в глаза. Классика жанра, отработанная задолго до всяких Пределов. Я сдвинул стул на полметра вбок, не спрашивая. Левый сделал пометку.

— Производство о фонде Седьмого Предела, — начал левый, раскрывая папку. — Существо вопроса. Фонд четыреста лет состоял на консервации. Вскрыт. Перемещён. Согласование с заинтересованными лицами получателем не запрашивалось. Заинтересованные лица рассматривают объём встречных обязательств получателя. Получатель — вы.

— Получатель готов, — сказал я. — Начнём с документов.

И я выложил на зелёное сукно то, что Зуслик собирал мне вчера полночи, слюнявя перо и приговаривая «этим — только по форме, хозяин, форма для них как для тебя скальпель». Заверенные копии. Акт обнаружения бесхозного объекта. Опись — тридцать один лист изъятых, побуквенно. Заявление штатной единицы о переводе. И главное — докладную о необходимости ревизии склада, поданную за сотню лет до вскрытия, с входящим номером и резолюцией «Ожидайте».

— Фонд не был вскрыт без согласования, — сказал я. — Фонд был вскрыт после согласования, которое ваша сторона оформила словом «Ожидайте» и не исполнила за сто лет. Штатная единица склада ожидала. Не дождалась. Оформила по инструкции, действующей на момент оформления. Если у заинтересованных лиц есть претензии к срокам — у меня

встречный вопрос о сроках рассмотрения докладных.

Левый взял докладную. Читал долго — или делал вид, глаза у него не двигались, двигался только лист. Потом передал правому. Правый передал среднему. Средний не взял — лист лёг перед ним на сукно, и средний накрыл его ладонью. Просто накрыл. У меня возникло стойкое ощущение, что документ прочитан.

— Форма соблюдена, — признал левый с лёгким удивлением конторщика, у которого посетитель внезапно принёс все справки. — Претензия по факту вскрытия несостоятельна.

— Тогда о чём производство? — спросил я.

Пауза. Из тех пауз, ради которых собираются такие столы.

— Производство, — сказал правый, — о встречах обязательств. Фонд признан за вами. Интерес остаётся за нами.

На слове «признан» я поправил на сукне край своей описи. Теперь это была опись моего фонда даже по их формулировке.

— Интерес — к фонду?

— Интерес, — сказал левый, — к получателю.

Стало тихо. Где-то за периметром двора, в настоящем городе, что-то далеко и глухо упало. Млякс в капюшоне перестал дышать. Алёна за моей спиной стояла так неподвижно, что её можно было вносить в опись как элемент конструкции.

— Вы владелец объекта с аномальной динамикой, — начал правый, и по тому, как он заговорил — быстрее, живее, почти по-человечески, — стало ясно, что предыдущие полчаса были прихожей. — Девять дней: уровень один, двадцать учтённых жителей, тридцать три души, целостность сто двадцать. Это любопытно, но это не интерес. Интерес — ваша учётная строка. Класс.

— «Создатель существ», — сказал средний.

Он заговорил впервые, и я понял, почему от него хотелось отойти. У левого и правого голоса были канцелярские — бумага, шелест, входящие-исходящие. У среднего голос был нормальный. Тёплый, усталый, человеческий голос немолодого мужчины, каким спрашивают «ну что там с анализами, доктор?». На выданном лице этот голос сидел хуже, чем само лицо — на голове.

— Вы читали архив, владелец, — продолжил средний. — Первую запись. «Не верь слову создатель. Мы не создаём — собираем». Это не поэзия. Это производственная документация. Всё, что вы видели в нашем хозяйстве — охотники, гончие, пороги, дома, — сборка. Хорошая, старая, патентованная сборка. Узлы, замки, спецификации. Система собирает миры из готовых частей, как ваш новый дом — из ваших старых ворот. И система не умеет одного.

Он сделал паузу — не канцелярскую, человеческую. Так делает паузу врач перед словом, которое пациент запомнит на всю жизнь.

— Новых частей, — сказал я. Раньше него. Назло.

— Новых частей, — согласился средний, и выданное лицо попыталось улыбнуться. Мышцы сработали, улыбка собралась — по частям, как всё у них. — Последний носитель профильного класса перестал быть доступен давно. Настолько давно, что даже там, где помнят долго, помнят только его патенты. Реестр совместимых носителей пустовал. Девять дней назад в нём появилась строка. Одна. Ваша.

Внутренний хомяк сел столбиком и очень тихо спросил: а сколько такая строка стоит? Внутренняя жаба легла на строку всем телом и сказала: не отдавай. Оба, отметил я, даже не спорили — впервые на моей памяти.

— Предложение, — правый выложил на сукно лист. Плотный, под рыжей печатью, уже заполненный — моё имя стояло в шапке, вписанное заранее, и от этого заранее по хребту прошло то же, что от выметенной дорожки. — Договор сопровождения. Заинтересованные лица принимают на себя: защиту объекта, снятие всех текущих и будущих производств, снабжение по третьей категории. Носитель принимает на себя: профильные заказы. Изготовление. По спецификациям заказчика, из материалов заказчика, в сроки заказчика.

— Каких заказов? — спросил я, не притрагиваясь к листу.

— Первый заказ приложен, — сказал левый.

Второй лист лёг рядом. Я посмотрел. Я умею читать спецификации — я их писал двадцать лет. Мне хватило шапки,

четырёх строк морфологии и графы «назначение», в которой стояло одно слово, и слово это было «санация».

Существо, описанное в заказе, предназначалось для работы по городам. По таким, как тот, что лежал за периметром выметенного двора. Я не буду пересказывать морфологию. Скажу как специалист: собрать такое нельзя. Такое можно только вырастить, и растить его должен тот, кто понимает в эмбриологии больше, чем в совести.

Я положил лист на сукно лицом вниз. Медленно, чтобы руки не выдали.

— Мелкий шрифт, — сказал я. — В договоре. Пункт о выходе.

— Выход по соглашению сторон, — сказал правый.

— Сторон — которых?

— Заинтересованных, — сказал левый, и я оценил честность формулировки.

— Я понял. — Я откинулся на спинку холодного стула. Солнце уже не било в глаза — я же сдвинул стул. Мелочь, а приятно. — Ответ: не сегодня. У меня объект на девятом дне жизни, тридцать три души на довольствии и производственная площадка размером с один терминал. Носитель, которого вы ждали дольше, чем помните, может подождать ещё — по вашим же меркам это даже не пауза. Оформите как отсрочку.

Трое переглянулись — впервые за всю явку. То есть я думаю, что это было «переглянулись»: лица не шевельнулись,

но что-то прошло по столу слева направо и обратно, как ток по шине.

— Отсрочка, — сказал средний, — оформляется. Интерес капитализируется. Вы понимаете это слово, владелец?

— Я понимаю это слово, — сказал я. — Оно означает, что чем дольше я думаю, тем дороже буду стоять. У вас с системой одна школа тарифов.

— У нас с системой, — сказал средний, — одна бухгалтерия.

И вот здесь — на слове «бухгалтерия», ровно на нём, это я запомню навсегда — у меня перед глазами развернулась строка. Не на стеле, не на листе. Прямо в воздухе, поперёк зелёного сукна, рыжая, срочная, моя:

[Пристанище №1 Земли: нарушение периметра.]

[Источник: внутренний.]

Тело сработало первым — я оказался на ногах, стул отлетел, ладонь Алёны уже лежала у меня на плече, а ствол уже смотрел на стол. Потом догнала мысль, и мысль была простая и ледяная: внутренний. Не «атака». Не «взлом». Источник — внутренний. Изнутри. Из дома, где я оставил тридцать одну душу и приказ не открывать.

— Сядьте, — сказал левый.

— Производство не завершено, — сказал правый.

— Завершено, — сказал средний, и оба замолчали. Он собрал листы — мой, с отказом, отдельно, — сложил в папку и посмотрел на меня своим человеческим взглядом с чу-

жого лица. — Решение принято. Фонд — ваш. Отсрочка — оформлена. Интерес — капитализируется. Вы свободны, владелец. Мы не задерживаем.

Уже разворачиваясь, уже почти бегом, я услышал в спину его голос — тёплый, усталый, докторский:

— И, Артём Ильич. Когда будете дома — пересчитайте всё, что вам дорого. Это не угроза. Это профессиональный совет человека, который работает с описями.

Обратно мы не шли — мы бежали. Выметенная дорожка кончилась за первым же поворотом, как обрезали, и дальше был обычный мёртвый город, по которому не набегашься: стекло, пепел, проломы, дважды — я слышал — что-то поднималось на звук наших шагов, и дважды Алёна разворачивалась на бегу, не стреляя, и оно передумывало. Млякс висел в капюшоне молча. Один раз сказал:

— Хозяин. Что бы там ни было — оно уже было. Плашка приходит по факту. Ты бежишь к последствиям, не к событию.

— Знаю, — выдохнул я.

— Тогда зачем бежишь?

— Затем же, зачем ты орёшь, когда падаешь. По протоколу вида.

Дверь я увидел за квартал — и с квартала же увидел, что она закрыта. Рыжий контур на серой стене, ровный, целый, штатный. На секунду отпустило. А потом мы добежали. Я прижал ладонь к контуру, рванул створку — порог пропу-

стиль нас без единого вопроса. Внутри я увидел двор, и всё, что отпустило, вернулось и село на грудь.

Двор стоял. Дома стояли, свод горел каждым третьим светильником, терминал светился в дальнем конце — всё цело, всё на местах. Люди были живы. Люди стояли одной толпой посреди двора, тихие, как на панихиде, и смотрели на меня. У избы, привалившись спиной к стене, сидел Палыч — живой, серый лицом, с правой рукой, замотанной чем-то бурым, и Вера как раз затягивала узел. Рядом лежала Найда. Она дышала — бок ходил часто и мелко, — и на боку у неё, от лопатки к рёбрам, шла полоса, будто по собаке провели раскалённой линейкой. Таня стояла над ними с половником, и по её лицу я впервые понял, как выглядит человек, которому некого было ударить.

— Доложи, — сказал я Палычу, потому что если бы я сказал что-нибудь другое, голос бы у меня не выдержал.

— Тринадцать сорок, — сказал Палыч ровно, по-уставному, глядя перед собой. — Пацан встал с лежанки. Максим. Прошёл двор. Я окликнул — он не обернулся. Подошёл к двери и взялся за неё, как за свою. Я — следом, за плечо его... — Палыч посмотрел на свою замотанную руку с чем-то вроде недоумения. — Не он. Я даже не понял, что. Дверь уже была открыта, и оттуда — вошло. Спокойно вошло, доктор. Не ломилось, не грызло. Вошло, как входят по накладной. Я стоял между ним и детьми, ну и... постоял, сколько смог. Найда дольше стояла. Дверь я закрыл, как они ушли, — до-

ковылял и закрыл, на это меня хватило.

— Что взяли?

— Ящик. — Палыч кивнул на пустой угол под навесом, где до полудня стоял фиолетовый футляр — второй, гудящий, тот, что «отвечал». — Только его. Больше ни к чему не притронулись. И пацана. Пацан сам ушёл, доктор. Своими ногами. Впереди них.

Оксана сидела на крыльце избы. Прямо, неподвижно, сложив руки на коленях, как сидят в коридорах больниц, когда операция идёт слишком долго. Она не выла, не плакала — она смотрела в одну точку, и точкой этой была дверь. Алиса спала у неё на руках — её, видимо, милосердно сморило. Я подошёл. Я не знал, что говорить. За двадцать лет врачебной работы у меня были заготовки на любую смерть — на эту не было.

— Он ведь не Максим был, — сказала Оксана тихо, не отрывая глаз от двери. — Да?

Я молчал.

— Я мать, — сказала она так же тихо. — Я знала, что что-то не так. С самых путей знала. Максимка левша был. Этот ложку в правой держал. Я себе сказала — от страха переучился, бывает же. Я себе много чего говорила. Потому что если не он — тогда где мой?

И на это у меня тоже не было заготовки. Я положил ей руку на плечо — просто положил, как кладут шину: не лечит, но держит, — и она наконец закрыла глаза.

Гриша слез с конька нового дома последним — он просидел там всё это время, как приказано, и на лице у него было написано, чего ему стоило выполнить приказ «с крыши не слезать».

— Докладываю, — сказал он без предисловий, голосом инженера, читающего протокол испытаний. Руки у него ходили — он тёр ладони одну о другую, счищая с них крышу, холод, бессилие, и никак не мог счистить. — Всё время, что он у вас жил, над ним висела строка. Обычная, серая: «Максим». Как над любимым из вас. Я на него смотрел сто раз — строка как строка.

— А в тринадцать сорок?

— А в тринадцать сорок он взялся за дверь, и строка погасла. — Гриша сжал ладони и перестал их тереть. — Не исчезла. Погасла, как лампа при просадке, — я такое на стенде ловил тысячу раз. И пока он шёл через порог, над ним было пусто. Как над тем, на путях. Я тебе про него рассказывал, доктор. Я тогда думал — сбой. Это не сбой. Это у них режим работы такой: пока изделие работает, оно — Максим. А когда его включают на полную — строке не хватает мощности врать.

Зузлик стоял у своей книги, раскрытой на ящике, и не писал. Впервые за девять дней — не писал. Потом взял перо, обмакнул и вывел одну строку, медленно, как высекают.

— Запись, — сказал он вслух, для протокола, которым был он сам. — «Житель Максим. Выбыл. Причина...» — Пе-

ро зависло. — Хозяин. У меня нет формы для этой причины.
— Пиши: «выбыл как груз», — сказал я.

И терминал, будто дождавшись формулировки, мигнул через весь двор — спокойно, буднично, той самой строкой, которую я, оказывается, ждал с той ночи, когда охотник провыл в темноту три коротких сигнала и увёл гончих порожняком:

[Обратный груз: забран отправителем.]

[Претензий к получателю: нет.]

[Спасибо за сотрудничество.]

— Спасибо, — повторил Млякс беззвучно, одними ушами. — За сотрудничество.

Кусю я увидел уже в сумерках, когда двор понемногу начал шевелиться, — Вера уводила детей, Таня гремела баком, потому что горе горем, а ужин по расписанию, и в этом была она вся, и это было правильно. Кукла лежала на пороге, у самого контура, лицом вверх. Не брошена — положена. Ровно, аккуратно, руки вдоль тельца, как укладывают то, что больше не понадобится, но что жалко ломать. Изделие вернуло реквизит.

Я поднял её. Куся смотрела на меня нарисованными глазами, и в свете рыжих светильников морда у неё была самая обыкновенная — тряпичная, добрая, со стёршимся носом. Ею играл мой контингент. Её таскала за ногу Алиса. Ей молчаливый пацан — настоящий или нет — считал до ста, чтобы спать не так страшно.

Соня подошла и встала рядом. Взяла у меня куклу, осмотрела профессионально, как я осматриваю пациентов, поправила ей платье.

— Куся считала, — сказала она. — Каждую ночь. Я слышала через стенку, как он шептал. Досчитает до ста и начинает заново. — Она посмотрела на меня снизу вверх, и глаза у неё были сухие и очень взрослые. — Дядя Артём. А до сколько надо досчитать, чтобы Максима вернули?

Я присел перед ней на корточки. За её спиной горел терминал, стояли два дома, дышал мой немаленький уже посёлок — учтённый, прописанный, видный в реестрах всем, у кого есть допуск. Где-то в этих реестрах была строка про фонд, который мой. Строка про отсрочку, которая оформлена. Строка про интерес, который капитализируется. И где-то — не в реестрах, в папке с тесёмками — лежал заказ со словом «санация» и моё имя, вписанное заранее.

Такие, как они, не убивают. Такие, как они, оформляют. Что ж. Я двадцать лет отслужил в учреждении, где на каждый скальпель была амортизационная ведомость. Я умею в документы. Теперь у четвёртого делопроизводства есть встречный интерес — мой, — и я намерен его капитализировать.

— До сколько надо, — сказал я, — до столько и досчитаю. Считать мы теперь умеем лучше всех в этом городе.

Я взял Кусю под мышку, Соню за руку и пошёл к избе — ставить Палычу нормальную повязку, смотреть Найдин бок, ужинать, жить. У порога я обернулся на дверь. Рыжий

контур горел ровно, как ни в чём не бывало.

— Досчитаем, — сказал я двери. — И придём за своим.
По форме.

Глава 5

— Ту же, доктор, — сказал Палыч. — Это рука, а не барышня. Не разревётся.

— Это рука с рваным повреждением мягких тканей, — сказал я, накладывая тур за туром. — И барышень с такими я тоже перевязывал. Ревут, кстати, реже вашего брата. У них болевой порог честнее.

Мы сидели в избе, на лавке, при гирлянде и одной свече. Правое предплечье Палыча выглядело так, будто по нему прошли столярным рашпилем — не укус, не разрез, а протыг: изделие даже не обернулось, когда убирало его с дороги. Кость цела, сухожилия целы, мышца потянута и вспахана. Заживёт. Я промыл, стянул края пластырными полосками и теперь бинтовал, стараясь не думать о том, что девятилетние руки такого не делают. Девятилетних рук там и не было. Там вообще не было ничего из того, что мы видели два месяца... неделю. Неделю и два дня. Время в этом мире врало на ощупь, как дешёвый термометр.

— До свадьбы заживёт, — подытожил я, закрепляя конец бинта. — Недели три правой не работать. Совсем, Палыч. Ложку в левую.

— Я из помпового с левой хуже стреляю.

Палыч положил перевязанное предплечье на колено и посмотрел на меня: ложку он бы ещё уступил, ружьё — вряд

ли.

— Значит, три недели будете стрелять хуже. Или не стрелять. — Я посмотрел ему в глаза. — Вы мне нужны с рукой, а не с культёй, которую я отниму, когда туда зайдёт гангрена. Выбор поколения: дисциплина или ампутация.

— Понял, — сказал Палыч, и по интонации было слышно: понял и не согласен, но выполнит. Устав в нём был крепче обиды.

Найда лежала у печки, на брезенте, который Вера сложила вчетверо. Полоса на боку — от лопатки к рёбрам — уже не кровила: я промыл её ещё засветло, наложил давящую и теперь только проверил, не сползло ли. Собака дышала часто, но ровно, и когда я тронул край повязки, не зарычала — повернула голову и посмотрела. Взгляд у неё был рабочий. Так смотрит часовой, которого сняли с поста по ранению и который с этим категорически не согласен.

— Лежать, — сказал я ей. — Приказ по гарнизону. Рапорт о несогласии с лечением — лично, по форме.

Найда вздохнула всей грудной клеткой и положила морду на лапы. Приказы она понимала лучше половины людей.

Нити Зурршвана я не тронул ни для того, ни для другой. Девятнадцать штук в пенале — и я обнаружил, что стерегу их, как хомяк стережёт щёки. Повязка справится там, где справится повязка. Нити — на то, с чем повязка не справится. Внутренняя жаба, весь вечер молчавшая, одобрительно шевельнулась: не отдавай. Впервые за девять дней её жад-

ность звучала не как порок, а как стратегия.

Ужин Таня выдала по расписанию — в этом была вся Таня. Мир может рухнуть, ребёнка могут украсть из-под трёх взрослых и одной собаки, но в семь часов будет каша, и попробуй не приди. Люди ели тихо. Не подавленно — тихо, как едят в доме, где случилось, и все знают, что случилось, и никто не хочет быть тем, кто заговорит первым. Дети сидели кучнее обычного. Алиса спала на руках у Ленки — не у матери. Это тоже все заметили, и никто не сказал.

Оксана так и сидела у избы, на крыльце. Прямо, аккуратно, руки на коленях — в той же позе, что днём, будто день просто продолжался вокруг неё, не задевая. Вера вынесла ей миску, поставила рядом на ступеньку, не сказав ни слова. Через полчаса забрала нетронутой и принесла кружку с кипятком. Кружку Оксана взяла. Держала в ладонях, не пила. Тепло она пока принимала только в той форме, которая не требует глотать.

Рядом с Оксаной нашлось место на нижней ступеньке. Присев на корточки, я протянул руку; она отдала запястье, как дают вещь. Под пальцами частил слабый пульс — сто десять. Шок как шок, по учебнику.

— Я не буду говорить, что всё будет хорошо, — сказал я тихо. — Я скажу то, что знаю как врач. Вы девять дней тащили двоих детей через конец света. Организм такое не прощает бесплатно, он выставит счёт — сон, аппетит, руки трястись будут. Это не слабость. Это физиология. Когда счёт

придёт — приходите ко мне, я умею с такими счётами работать.

Она повернула голову. Посмотрела на меня — впервые за вечер в глазах было что-то, кроме двери.

— А по другому счёту? — спросила она ровно. — По главному. Вы умеете?

— Учусь, — сказал я честно. — Быстро.

Она кивнула и вернулась глазами к двери. Разговор был окончен, и это был лучший из возможных исходов — она задала вопрос. Люди в настоящем оцепенении вопросов не задают.

В избе меня перехватила Соня. Она сидела на краю топчана с Кусей на коленях и осматривала куклу с тщательностью приёмной комиссии — заглянула под платье, прощупала швы, отогнула тряпичные руки, одну за другой.

— Проверяю, — пояснила она, не дожидаясь вопроса. — Вдруг они в неё что-нибудь положили. Или вынули.

— Логично, — признал я и присел рядом. — Разрешите ассистировать. У меня стаж.

Мы осмотрели Кусю вдвоём, по протоколу — я прощупал набивку — вата, свалявшаяся от старости, ничего инородного, — Соня проверила лицо и волосы из ниток. Кукла как кукла. Самый обычный предмет из всех, что побывали в этой истории, и почему-то от этого — самый жуткий.

— Целая, — подытожила Соня и вдруг сказала, глядя не на меня, а на куклу: — Он с ней аккуратно. Всё время акку-

ратно был. Даже когда уходил — положил, а не бросил. — Она разгладила кукле платье. — Так не бывает, чтобы совсем понарошку. Хоть немножко, но по-настоящему. Да?

Вопрос был из тех, на которые у науки нет инструментов. У изделия, скопировавшего мальчика целиком, до ресниц, могло скопироваться и что-то ещё — привычка беречь куклу, жест, которым её кладут. Копия жеста. Отпечаток чужой нежности, снятый вместе со всем остальным.

— Не знаю, — сказал я, не соврав ни буквы. — Но когда мы найдём настоящего, у тебя будет, у кого спросить, как оно было по-настоящему.

— Тогда Куся пока поработает у меня. — Соня спрыгнула с топчана и одёрнула на кукле платье, как одёргивают халат перед сменой. — Вернём владельцу под расписку. У дяди Зузлика научилась, — добавила она, поймав мой взгляд.

С топчана у стены подал голос Витя — он не спал, конечно. Он теперь вообще плохо спал, и я его понимал.

— Доктор. — Голос был сиплый, но ровный. — Я вот лежу и считаю. Я с ним про рыбалку разговаривал. Три вечера. Рассказывал ему, как на мормышку брать. Он кивал. — Пауза. — Скажи мне как специалист: оно теперь там, у своих, докладывает про мормышку? В отчёте, по форме? «Объект наблюдения сообщил следующие сведения о ловле на безмотылку»?

— Вить.

— Не, ты не подумай, я не жалуясь. — Он смотрел в свод,

и в углу рта у него дёргалось что-то среднее между усмешкой и другим. — Я просто хочу знать, на каком я теперь учёте. Как свидетель прохожу или как дурак.

— Как источник разведданных о мормышке, — сказал я. — Засекреченный. Спи. Шов не трогай.

— Есть не трогать, — сказал Витя и, помолчав, добавил тише: — Найдите пацана, доктор. Настоящего. Который про рыбалку не слышал ещё.

Вера нашла меня на полпути между избой и терминалом — вышла из темноты с двумя кружками и сунула одну мне в руки, не спрашивая.

— Кипяток с сушёной мятой, — сказала она. — Таня ещё с пятиэтажки насушила, из своих кухонных запасов. Пей. У тебя лицо человека, который забыл, что у него есть тело.

Я отпил. Мята была настоящая, горячая, с дымком — тело немедленно вспомнило о себе всем сразу — спиной, ногами, суточной щетиной.

— Спасибо.

— Угу. — Она стояла рядом, плечом почти к моему плечу, и смотрела туда же, куда я, — на рыжий контур двери. — Скажи мне одну вещь, только без своих «по формам». Мы его найдём?

— Не знаю, — сказал я. — Знаю, что искать будем правильно. Это больше, чем у нас было утром.

— Ясно. — Вера помолчала. — Врать ты так и не научился. Это, между прочим, единственное, что мне в тебе нра-

вится, — соврала она, отняла у меня пустую кружку и ушла к избе, и походка у неё была такая, что я три секунды смотрел вслед, а внутренний хомяк вежливо напомнил, что совещание.

Узкий круг я собрал в темноте, у терминала, когда изба затихла и двор лёг. Млякс — на стеле. Зузлик — при книге, разложенной на ящике. Гриша — на брикете, локти на коленях. Геннадьич — с термосом, из которого он разлил по кружкам что-то, что называл чаем по праву давности. Алёна стояла у будки, вполоборота к нам, вполоборота к двери — она слушала, но пост не бросала, и я оценил.

— Разбор, — сказал я. — По порядку. Без эмоций, эмоции потом, на них сейчас нет бюджета. Первое: как нас обманули.

И я разложил — вслух, по пунктам, как раскладывал бы летальный случай на утренней конференции. Изделие вошло к нам пять дней назад, в первой пятёрке, с готовой строкой, с готовой матерью и с готовой легендой — молчание, шок, всё объяснимо, всё трогательно. Осмотр его не поймал, потому что осмотр искал травмы и истощение, а не подмену, — шов-проверку мы придумали позже, уже на Грише. Это не личина, натянутая на тварь, это изделие, собранное целиком, до последней ресницы. Карантин не поймал. Порог не поймал — и порог не виноват, у порога перед глазами была строка жителя, а житель проходит целиком, таков устав. Мы сами прописали его. Первым, вне очереди. Он сам по-

просился первым — и я по сей час не знаю, что это было: насмешка или производственная необходимость.

— Протокол в этом месте требует найти виновного, — сказал я. — Докладываю: виновного нет. Есть система проверки, рассчитанная на тварей, и есть изделие, рассчитанное на систему проверки. Мы проверяли на фальшивую личину. Нам прислали настоящего мальчика. Настоящего снаружи — до последней складки на шее. Я смотрел. Я сам смотрел.

— Ты сейчас делаешь то же, что с Гришей, — подал голос Млякс. Он сидел на стеле, обернув хвост вокруг лап, и уши его висели, как флаги в безветрие. — Шесть фактов сложил в диагноз, диагноз оказался кривой — и ты теперь пережёвываешь собственную голову. Докладываю как демон с двенадцатилетним стажем: голова у тебя исправная. Просто там, наверху, — он дёрнул ухом куда-то в сторону свода, — работают существа, у которых стаж длиннее.

— Принято, — сказал я. — Второе. Что мы знаем о том, что произошло. «Обратный груз забран отправителем». Перевожу с системного. Изделие никто у нас не крал — его ото-звали. Как отзывают командированного. Оно встало, открыло дверь правом жителя — правом, которое мы ему сами выдали, — впустило приёмную комиссию, выдало груз и ушло. Геннадьич при слове «комиссия» хрустнул кружкой — я думал, керамика не хрустит, оказалось, хрустит. Претензий к получателю, как нам вежливо сообщили, нет. За сотрудничество — спасибо. — Я услышал, как у меня самого дёрну-

ласть щека. — Обратите внимание на выбор груза. В доме было чем поживиться — нити, образцы, касса, документы. Взяли одно. Футляр. Тот, который гудел и отвечал первому. Они пришли не грабить. Они пришли по описи — за своим. Всё остальное их не интересовало, включая нас.

— Не включая, — сказал Гриша, не поднимая головы. — Поправка. Они оставили тебе куклу. Аккуратно. Это не «не интересовало». Это расписка в получении.

В темноте стало на градус холоднее. Он был прав, и от этой правоты хотелось вымыть руки.

— Третье, — сказал я. — Главное. Настоящий Максим.

Все, кто был у терминала, чуть сдвинулись — не телом, вниманием. Даже Алёна у будки повернула голову на четверть.

— Изделие заняло его место не вчера. Оксана говорит — с путей. С самого начала, с дороги, до нашей двери. Значит, подмена произошла там, на железке, в ночь перед тем, как пятёрка дошла до нас. И у нас есть ровно одно наблюдение из того места и того времени. — Я посмотрел на Гришу. — Твоё.

— Человек без строки, — сказал Гриша. Он потёр ладони — той самой манерой, счищающей с рук невидимое. — Я его видел один раз, издалека, на путях. Над всеми что-то висит. Над тварями — их паспорт. Над людьми — серое, короткое. Над этим — ничего. Дыра в воздухе. Я тогда решил — сбой, я на тот момент третьи сутки не спал нормально. Теперь я

думаю... — он поднял глаза, — теперь я думаю, что видел процесс. Или того, кто процесс обслуживает. Точку я помню. Плюс-минус пролёт.

— Четвёртое. — Я обвёл их глазами. — Что делаем. Докладываю решение, возражения приму сейчас, потом не приму. Мы подаём встречное производство. Не вопль, не жалобу — производство, по форме, с номерами накладных. У них на нас папка? Отлично. Папка — это переписка. А переписка — это канал. И мы идём на пути. Не отдельным выходом: завтра у нас инсулин, у Зинаиды Марковны счёт на дни, я обещал. Но мы идём. Завтра начнём с аптеки; до путей дойдём, если позволят руки и груз. Две цели на один маршрут: лекарства и точка Гриши.

— Возражение, — сказала Алёна от будки, не оборачиваясь. — Не по сути. По составу. Ты с утра достраивал дом, в полдень ушёл на явку, а под вечер у тебя украли ребёнка. Один день, доктор. Ты пойдёшь в город с руками, которые вот прямо сейчас трясутся. Я вижу отсюда.

Я вытянул перед собой ладони. Тряслись. Не сильно — на два балла по моей внутренней шкале, — но для человека, собравшегося читать следы на путях, два балла это много.

— Возражение принято, — сказал я. — Выход после полного сна. Ещё?

— Дополнение, — сказал Геннадьич и поднял с земли фанерку, на которой белел приколотый лист. — Не моё, студента. Он до отбоя сидел, стеснялся подойти.

На листе — я поднёс его к гирлянде — была карта. Рисованная от руки, но с масштабом, с розой ветров и с легендой в углу — наш тупик, пятиэтажка, переезд, и цепочка кружков вдоль двух улиц, каждый пронумерован.

— Аптеки, — сказал Геннадьич с гордостью, которую даже не пытался скрыть. — Костя по головам опросил всех, кто где жил и какие аптеки помнит. Шесть точек. Нумерация по удалению от двери. Возле третьей крестик — там Палычевы видели гнездовье, он предлагает обходить по параллельной. Пацан прикинул даже время — с тачкой плюс сорок минут, без тачки быстрее, но унесём меньше. Внизу листа была приписка мелким почерком отличника: «время указано без учёта происшествий».

— Он спрашивает разрешения завести на это отдельную папку, — не удержался Зузлик — в голосе стояла нежность мастера, увидевшего смену. — Я выдал ему вторую чернильницу. Из своих.

Я смотрел на кружки. Аптека номер два стояла в полутора кварталах от переезда — от путей, от точки Гриши, плюс-минус пролёт. Маршрут складывался сам, как складывается диагноз, когда все анализы наконец на столе.

— Утверждаю, — сказал я. — И передайте студенту: пусть заводит папку. У нас в хозяйстве бумага побеждает чаще дубинки.

— Ещё, — Зузлик кашлянул с достоинством пыльного шкафа. — Хозяин. У меня вопрос учёта.

Кто-то — кажется, Геннадьич — издал звук, который у интеллигентного человека заменяет стон. Зузлик не повёл ни ухом.

— Строка жителя Максима, — сказал он. — Ты продиктовал: «выбыл как груз». Я записал. Книга запись приняла. Но строка не закрывается.

— В смысле — не закрывается?

— В прямом. — Зузлик развернул книгу к свету гирлянды, и я увидел разворот: убористые столбцы, знакомая каллиграфия, и одна строка, подчёркнутая дважды. — Порядок такой: житель выбывает, я подвожу черту, книга гасит строку. Сорок лет так. Четыреста, — поправился он, покосившись на меня, — по ощущениям. Я подвёл черту. Смотри.

Я наклонился. В колонке «Максим, 9 лет, житель, вписан первым» стояла черта — ровная, зузликовская. А под чертой, тем же почерком, которым книга писала всегда, когда писала сама — без пера, без руки, буквами, проступающими из бумаги, как синяк, — было выведено:

«Строка закрыта. Учёт продолжается».

— Это она сама, — сказал Зузлик без выражения. — Я такого оборота не знаю. «Учёт продолжается» пишут, когда объект учёта существует. Закрытая строка существовать не может. Это... — он поискал слово и нашёл самое страшное из своих: — Это не по форме.

— Может, она про изделие? — спросил Геннадьич. — Оно ж где-то есть. Ушло, а не померло.

— Изделие никогда не было объектом моего учёта, — сказал Зузлик с холодом оскорблённого профессионала. — Я веду души. Изделие — тара. Я не учитываю тару, которая ходит.

Стало тихо. Млякс на стеле медленно, очень медленно развернул уши в сторону книги — так локатор доворачивается на цель.

— Хозяин, — сказал он тонко. — Спроси её.

— Кого?

— Книгу. Она сегодня разговорчивая. Зузлик, задай уточняющий. По форме. Она любит по форме.

Зузлик посмотрел на Млякса, на меня, на книгу. Взял перо с видом сапёра, берущего щуп. И вывел под самозванной строкой, каллиграфически, с нажимом: «Уточнение к записи: указать основание продолжения учёта».

Секунду не происходило ничего. Потом бумага потеплела — я почувствовал это с полуметра, щекой, как чувствуешь открытую духовку. И под вопросом Зузлика, из глубины листа, проступил ответ. Четыре слова.

«Строка изъята. Носитель жив».

Первым звуком был скрип — Зузлик вцепился когтями в края книги так, что дерево ящика под ней хрустнуло. Вторым — мой собственный выдох. Я стоял над разворотом, читал четыре слова, и внутри меня, где-то между жабой и хомяком, поднималось чувство, которому я не сразу подобрал название, потому что за девять дней отвык. Надежда. Злая,

рабочая, с зубами.

— Носитель, — сказал я вслух. — Она называет его носителем. Строку не уничтожили. Строку изъяли. Как изымают... — я посмотрел на свои руки, которые уже не тряслись, — как изымают орган. Донорский. Живой. Хранение и транспортировка по протоколу.

— И если носитель жив, — Млякс сполз со стелы и подошёл к книге, глядя на неё снизу вверх, с ужасом и уважением, — то где-то в этом городе ходит девятилетний пацан, у которого забрали его учётную запись. Пустой. Без строки. Хозяин. Твой человек без строки на путях...

— ...не один, — закончил Гриша. Он встал. — Их там может быть склад.

Я закрыл книгу — осторожно, как закрывают историю болезни, в которой только что нашли не смертельный диагноз, а опечатку в смертельном. Двор спал. Дверь горела ровным рыжим контуром, и за ней, в нескольких кварталах ночного мёртвого города, лежали пути, точка «плюс-минус пролёт» и ответ на вопрос Сони, до сколько надо досчитать.

— Подъём в шесть, — сказал я. — Аптека. Пути. По форме.

Из банки на полке, через открытую дверь избы, один раз — коротко, одинарно, штатно — квакнул Федя. Впервые с прошлой ночи — и впервые так, что от этого стало легче, а не хуже. Дом выдыхал.

— Хозяин. — Зюзлик не двигался. Он стоял над закрытой

книгой, и когти его лежали на обложке так, как кладут руку на плечо. — Она дописала. Через закрытую обложку.

Крышка книги поднялась под моей рукой. Под четырьмя словами, которые подарили нам надежду, стояла пятая строка — свежая, тёплая, я чувствовал её ладонью через лист.

«Срок хранения носителя: ограничен».

Сколько, — хотел спросить я, но у книги не было графы для этого вопроса. У меня — было. Она называлась «подъём в шесть».

Глава 6

— Список повторить можешь? — спросила Алёна, застёгивая подсумок.

— Инсулин, любой, лучше короткий и продлённый. Тест-полоски. Антибиотики широкого спектра. Перевязка. Всё, что в холодильнике, если холодильник жив. — Я затянул лямку рюкзака. — И по мелочи, у меня в голове ещё строк тридцать, я их узнаю по упаковке.

— Строк тридцать, — повторила Алёна. — В рюкзак войдёт двадцать. Порог даст пронести пять кило за раз. Твой список писал оптимист.

— Мой список писал врач, у которого на объекте диабет, лактация, два огнестрельных характера ранения без огнестрела и один живот, который мне не нравится. Врач всегда оптимист. Иначе он становится патологоанатомом.

Рассвет ещё не поднялся — двор лежал в том сером, которое Геннадьич называл «межсменкой». У двери нас было четверо: я, Алёна, Гриша и Млякс, который занял капюшон без единого слова, как занимают служебное купе, и оттуда, изнутри, сообщил, что протестует против всего мероприятия в целом и против маршрута в частности, но бросить хозяина одного не может по причинам учётного характера.

— Если меня сожрут вместе с тобой, — пояснил он, — это будет хотя бы одна запись, а не две. Оптимизация доку-

ментооборота.

Вера вышла проводить — как была, в накинутаой куртке поверх сна. Сунула мне в боковой карман рюкзака свёрток, от которого пахло хлебом и ещё тёплой печкой.

— Вернёшься к обеду, — сказала она. Не спросила — назначила.

— Постараюсь.

— Не старайся. Вернись. — Она поправила мне воротник халата жестом, от которого моё двадцатипятилетнее тело временно забыло про откаты, дедлайны и упаковку. — Стараться будешь в другом месте.

Зинаида Марковна не вышла — но из окна избы, из тёмного проёма, было видно её лицо. Она не махала. Она просто смотрела, как смотрят из окон на уходящую машину скорой: со стыдом за то, что это ради неё, и с надеждой, которую стыд не отменяет.

Дверь выпустила нас в тупик, и город принял всех четверых в свою серую утреннюю акустику. Десятый день нового мира стоял над Подольском тихий, как непроветренный морг.

Шли по уставу Алёны: она впереди, стволom по секторам, я уступом в трёх шагах сзади-слева, Гриша замыкал. Город за сутки, что мы в нём не были, не изменился — и изменился. Так бывает с лежачими больными: вроде тот же человек, а подойдёшь утром — и видишь, что за ночь что-то перераспределилось.

— Строка, — негромко сказал Гриша на втором перекрёстке. — Не тревога. Мелкая, за домами, уходит. Падающий, судя по темпу.

Он выдавал сводку каждые минут пять — ровным голосом диспетчера, и дышалось под этот голос почему-то спокойнее. Моя пальпация и его оптика — комплект. Руки, к слову, были в порядке. Сон сделал своё, каша Тани доделала остальное.

Квартал за детской поликлиникой пришлось обходить. Гриша остановил нас за пятьдесят метров — не голосом, поднятой ладонью — и молча показал на арку двора: там, в глубине, между гаражей-ракушек, что-то дышало. Не одно что-то. Много. Строки, сказал он потом, висели гроздью, штук двадцать, мелкие, и все мигали в одном ритме — как лампочки на гирлянде, соединённые последовательно.

— Выводок? — шёпотом спросила Алёна, когда мы отошли на квартал.

— Хуже, — сказал я. — Синхронный ритм — это не выводок. Это колония с общей регуляцией. Выводок можно разогнать. Колонию можно только выжечь. — Я оглянулся на арку. — Или обойти. Голосую за обойти.

— Впервые слышу от тебя медицински обоснованную трусость, — заметила Алёна.

— Это не трусость. Это триаж.

Дальше город выдал нам обычный свой утренний набор: перевёрнутую поливалку с проросшей уже — за неделю! —

травой сквозь решётку водостока, кошку, живую, наглуую, отъевшуюся, которая проводила нас с балкона вторым этажом взглядом рантье, и тишину, которая в жилых кварталах была хуже любого воя. У подъездов стояли машины с открытыми дверями. В одной, на заднем сиденье, лежало детское автокресло, и я поймал маршрут собственного взгляда — мимо, мимо, по касательной. Смотреть в упор город не разрешал. Себе дороже.

Мел я увидел первым — на трансформаторной будке, на уровне груди. Стрелка. Обычная меловая стрелка, белая, с растёртым хвостом, а под ней — три коротких символа, которые я не прочитал, потому что читать там было нечего: не буквы, не цифры, что-то среднее между стенографией и кардиограммой.

— Стоп, — сказал я.

Группа замерла. Алёна повела стволом по окнам. Гриша подошёл к будке, наклонился к меловым знакам — и присвистнул бы, если бы умел свистеть тише, чем говорил.

— Доктор. Это строки.

— В смысле?

— Системные строки. Вот это, — он показал на первый символ, не касаясь, — статус. Это направление. Это... расстояние, наверное, я такую форму видел над маяком. Только это не строки. — Он выпрямился. — Это их копия. Мелом. От руки.

— Кто-то срисовал системную разметку, — сказал я мед-

ленно, — на стену. Зачем?

— Затем, зачем пишут крупно, — сказал Гриша. — Для глаз, которым мелкий шрифт не выдали.

Млякс в капюшоне сжался — я почувствовал это лопатками.

— Хозяин, — сказал он тихо. — Пойдём в аптеку. Пожалуйста. Я потом объясню, почему мне не нравится слово «копия», сделанная тем, у кого есть допуск к оригиналу.

Аптека номер два по списку Кости сидела в цоколе панельного дома в квартале от переезда — зелёный крест над входом уцелел, витрина нет. Внутри было то, что я ожидал: торговый зал, выметенный подчистую ещё в первые дни, опрокинутые стеллажи, россыпь пустых коробок. И был порядок — которого я не ожидал. Локальный, странный, ограниченный дальним углом порядок — там, где за прилавком открывался проём в подсобку и вниз, в подвал, коробки стояли. Штабелем. Ровным, перевязанным, с подоткнутыми клапанами.

— Складывал кто-то, — шепнула Алёна.

— Складывало, — поправил Гриша. Он смотрел в проём, и лицо у него было инженерное — то, с которым читают показания стенда, выходящие за шкалу. — Строка. Внизу. Толстая, сытая, ранга не понимаю. Не двигается. Работает.

— Работает? — переспросил я.

— По циклу. Строка мигает ровно. Как у станка.

По лестнице спускались друг за другом, выдерживая по

три ступени между людьми, — я с фонарём, Алёна со стволом, Гриша с глазами. Подвал аптеки был аптечным складом, и склад был жив: вдоль стены гудел — гудел, десятый день без электричества! — фармацевтический холодильник, белый, рослый, со стеклянной дверью. От его задней стенки вниз, в пробитый пол, уходил жгут чего-то влажно-блестящего, похожего на пуповину, и пульсировал.

А перед холодильником, спиной к нам, работала тварь.

Размером с барсука. Сегментная, низкая, на восьми коротких ногах, шкура в серых пластинах — и передние конечности не как у зверя: две пары тонких, суставчатых, заканчивающихся не когтями, а щипцами. Пинцетами. Она брала с пола блистер, поворачивала к свету — у неё и свет был свой, две тусклые люминесцентные точки на месте бровей, — читала, я не подберу другого слова, читала упаковку, и укладывала блистер в коробку. Одну — в коробку слева. Следующую — в коробку справа. Брак — за спину, в третью кучу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.